Кр8Р2
С-30
Кр 83.3 (2=Рус)
С 30
Кр4032

А.М. ГОРЬКИЙ

ПИСЬМА и ВСТРЕЧИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дм. СЕМЕНОВСКИЙ

А. М. ГОРЬКИЙ

ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИВАНОВО • 1938

С30
Кр. 83.3(2=Рус)7-8 Горький
С-30

В живой художественной форме автор, один из многих наших писателей, воспитанных А. М. Горьким, рассказывает о своих встречах с ним, о глубокой заботе и любви, какими окружал А. М. Горький талантливых писателей.

В книге широко использована переписка автора с А. М. Горьким.

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ БИБЛ...

Кр. 4032 ±0
к

Замеченные опечатки

стр.	строка	напечатано	должно быть
58	19—20 сверху	„сатиритические“	сатирические
62	16 сверху	раз	рад

Вспоминается мрачное здание семинарского общежития, длинные коридоры, неуютные комнаты, всегда полные разноголосого шума и гама. Вспоминается заветная тетрадь в клеенчатом переплете, которую я, ученик четвертого класса, тайком от начальства заполнял рифмованными строчками. Лучшие свои стихи я послал в рабочие газеты «Невская звезда» и «Правда». Стихи были напечатаны, но я об этом не знал, так как большевистские газеты до нас не доходили. Семинарское начальство тщательно ограждало учащихся от всякого живого веяния. Особенно свирепо преследовались антирелигиозные книги. Но молодые умы не мирились с мертвой схоластикой, которая выдавалась в семинарии за науку, и упрямо стремились к настоящей науке и подлинному знанию. Несмотря на запрещения и репрессии, недозволенные книги в семинарию все же проникали. Жаждущие живого слова читали их и в одиночку, и коллективно, собираясь в архиерейском монастыре, в каморке знакомого певчего. Возвращаясь после таких запретных чтений в семинарию, слушатели этого маленького тайного «университета» особенно остро ощущали гнет семинарских стен, особенно жгуче ненавидели полный сухой казенщины бурсацкий режим.

Все это происходило в конце 1912 года.

То было время, когда Россия после временного торжества реакции вступила в полосу революционного подъема. В ответ на ленский расстрел по стране прокатилась мощная волна стачек, митингов и демонстраций протеста. Новые революционные настроения залетали и в затхлые стены бурсы. Незадолго до рождественских каникул семинаристы устроили забастовку. Пятьсот рослых, крепких бурсаков, прервав занятия, собрались в актовом зале, выгнали вон приехавшего архиерея, ректора семинарии Соболева и инспектора Скворцова. Затем, укрепив в дверных ручках швабры, бурсаки устроили сходку.

Семинарское начальство проявило в усмирении забастовщиков чисто жандармскую решительность. В актовый зал были введены солдаты, раздалась отрывистая команда:

— На при-цел!

Испытывая крепость бурсацких нервов, отряд направил на толпу дула винтовок. Стрельбы, однако, не последовало.

После этого наиболее активные забастовщики были арестованы и под конвоем городовых отправлены к губернатору. Дряхлый старик, губернатор Сазонов, топая на арестованных короткими ножками и брызгая слюной, визгливо кричал:

— В остроге сгною! На дне моря сыщу!

Было исключено много народу. Семерых начальство по этапу выслало из Владимира в родные села. К злополучной семерке был причислен и я. Как и другие, я получил волчий билет. Пути к дальнейшему образованию оказались для нас закрытыми.

Эта варварская расправа в условиях дореволюционной России не была чем-то необычным. За год до семинарской забастовки такая же печальная судьба постигла группу занимавшихся самообразованием владимирских гимназистов.

Усердные руки царских чиновников в мундирах и рясах с неслыханным бессердечием вырывали из среды учащейся молодежи самых протестующих, самых пылких, пытливых и одаренных, обрекая их на жалкое существование.

Зима прошла для меня в скитаниях по родственникам и знакомым и в писании стихов. Товарищи поступали в псаломщики, некоторые мечтали приготовиться на аттестат зрелости. Мне тоже нужно было зацепиться за что-то, найти в жизни свое место. Но итти в псаломщики я не хотел, а других перспектив — кроме сочинения стихов — не было.

В этот переломный, тяжелый момент моей юности что-то потянуло меня к Горькому. Причина влечения заключалась не только в огромной популярности его имени. Бодрый, протестующий тон его книг был так созвучен тем настроениям, к которым я приобщился в семинарском кружке и еще раньше.

Я знал, что Горький живет на Капри, что он редактирует беллетристический отдел выходящего в Петербурге марксистского журнала «Просвещение». Почему-то верилось, что он не только может дать оценку моим стихам, но и вообще посоветует, как мне быть.

И вот я послал Горькому через журнал «Просвещение» несколько стихотворений.

В короткой приписке к ним я спрашивал Алексея Максимовича: есть ли у меня талант и где можно учиться девятнадцатилетнему человеку, лишенному права поступления в средние учебные заведения России?

Я писал это 1 мая 1913 года. В то утро за чаем знакомый, у которого я гостил, — служащий приволжской фабрики, — блеснув на меня очками, сказал:

— Урядник требует, чтобы вас здесь не было. Через две-три

недели по Волге поедет царь, — начальство убирает с его пути всех неблагонадежных. Вам надо будет отправиться домой, к родителям...

В предвидении своего отъезда я просил Горького ответить мне до 15 мая.

Ответ к этому сроку не пришел, — и я уехал к отцу, забыв о своем письме.

Но в конце мая старичок-рассыльный принес в наш сельский дом пакет, который пересылал мне мой знакомый. Бросился в глаза почтовый штемпель: «Капри». Сильно забилось сердце. Я нетерпеливо вскрыл конверт. Письмо Горького было большое и сердечное.

«Стихи ваши показались мне недурными, — писал Алексей Максимович, — я послал их «Просвещению», где они, наверное, будут напечатаны. Присылайте еще...

«Искра божья у вас, чуется, есть. Раздувайте ее в хороший огонь. Русь нуждается в большом поэте. Талантливых — не мало, вон даже Игорь Северянин даровит! А нужен поэт большой, как Пушкин, как Мицкевич, как Шиллер, нужен поэт — демократ и романтик, ибо мы, Русь, — страна демократическая и молодая.

«Ищите себя. Всех слушайте, всех читайте, — никому не верьте и везде учитесь. Сим и можете победить.

«Куда вам поступить учиться? Ну, в этом я вам не советчик, не знаю куда. Но — пишите мне почаще, что-нибудь надумаем.

«До 15-го мая не успел ответить, извиняюсь.

«Будьте здоровы, берегите себя, не увлекайтесь пустяками серьезно...»

Предостерегая меня от увлечения модным тогда модернизмом, Алексей Максимович предлагал ряд советов. И прибавлял в заключение:

«Вот как я, целую проповедь написал вам, а вам, поди-ка, этот род литературы и в семинарии надоел?

«Желаю успехов. Не забывайте, что литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее...»

Трудно передать, каким праздником было для меня это письмо, как бодро отозвались в моей груди его полновесные, убедительные слова, сразу глубоко западавшие в память. Гордый вниманием Горького, я поверил в свои силы и способности. Будущее теперь не казалось мне таким мрачным и неопределенным, как раньше.

Я продолжал писать Алексею Максимовичу, посылая ему новые стихи. В ответ приходили его строки, написанные пря-

мым, круглым почерком всегда на плотной — в удлиненную клеточку — бумаге. Тем же почерком по-итальянски и по-русски был исписан и конверт.

Много радости принесла мне книжка «Просвещения» с напечатанными стихами, а первый, четырехрублевый, гонорар вызвал приятное ощущение относительной независимости.

Через месяц после первого письма с Капри я читал второе:

«Дмитрий Николаевич, за исключением — по силе соображений цензурных — стихотворения «Пролетарии», — все стихи ваши будут напечатаны в июньской книге «Просвещения»...

«Два стихотворения второго присыла пошлю завтра Овсянико-Куликовскому для «Вестн. Европы», третье — «Просвещению».

«Родина» — очень понравилась мне, хотя немножко вычурно, приукрашено излишне...

«Очень хорошо, что вы — семинарист, это — народ упрямый, все семинаристы, каких я знал, умели и любили думать...»

В ту пору московский меценат Шахов отправил группу исключенных владимирских гимназистов доучиваться за границу, отправил также одного семинариста. Другие изгои, обратившиеся за помощью к Шахову, успеха не имели. Я написал об этом Горькому.

Он отвечал:

...«Жаль, что вы не попали за границу, она многому и хорошо учит.

«Велика ли стипендия нужна вам и на какой срок? Сообщите.

«Шахов капризен, ибо стар...»

А в следующем письме Алексей Максимович извещал меня:

«Учиться необходимо, избежать солдатчины надо.

«Стипендию вам — р. по 300 в год — я найду, недохватку доработаете сами. Изнурять себя непосильным трудом и голодовками в юности — вреднейшая вещь, от этого большая часть нашей интеллигенции худосочна и нетрудоспособна».

Дальше Горький сообщал, что поручил одной своей знакомой прислать мне немного денег для поездки в Москву на предмет поступления в университет или институт.

«Затем мы с вами точно договоримся о самой стипендии,— как, в какие сроки, откуда вы будете получать ее, — писал Алексей Максимович: — Об участии моем в делах ваших никому не байте, это может дурно отозваться на полицейской благонадежности вашей»...

Следуя совету Горького, я не разглашал своих отношений

с ним. Но «шила в мешке не утаишь» — моя переписка с Алексеем Максимовичем не осталась тайной для жандармов. После революции копии писем были найдены во Владимирском охранном отделении.

В конце августа пришли обещанные деньги. Я поехал в Москву поступать в народный университет имени Шанявского. Это было, кажется, единственное в России учебное заведение, где от поступающего не требовалось ни казенного аттестата, ни свидетельства о благонадежности.

Зато окончившие университет не имели права и на диплом.

Я зашел в канцелярию «бесправного» университета и получил пропуск в аудитории.

В Москве я познакомился с профессором А. Е. Грузинским, читавшим в университете Шанявского лекции по русской литературе XVIII века. Пожилой и добродушный профессор, просмотрев мои стихи, написал отзыв на них. Кажется, этот отзыв был показан Шахову или какому-то другому меценату с целью исхлопотать для меня стипендию, но попытка не удалась.

В связи с этим Горький писал мне:

«Дмитрий Николаевич, неопределенность вашего положения в скорости выяснится, — потерпите ее еще немножко! Все устроится, верьте мне!..»

Скоро я узнал, что необходимые мне деньги будет давать сам Алексей Максимович. У меня появились знакомые литераторы: Тимофеев и Новиков-Прибой. Оба недавно приехали с Капри. Оба жили на Таганке в общей квартире.

Светловолосый, голубоглазый, сразу располагавший к себе, Борис Александрович Тимофеев был автором повести «Сухие сучки» и небольших рассказов. Горький считал его очень даровитым. Тимофеев учился на медицинском факультете, носил выцветшую шинель и в шутку называл себя «вечным студентом».

Невысокий и коренастый, Алексей Силыч Новиков, в прошлом матрос, казался старше Тимофеева. Год, прожитый им на Капри, был для него серьезной школой. В дарственной надписи на одной своей книге Горький назвал Алексея Силыча «Силой земной». Эта крепкая почвенная сила выражалась у Новикова в железной настойчивости и целеустремленности. Если Тимофеев писал, когда приходило настроение, то Новиков, по примеру Алексея Максимовича, работал ежедневно, упорно.

Сходясь вместе в столовой, друзья говорили о Горьком, о его внимательном отношении к талантливым людям. Называли имена писателей, которых Алексей Максимович ввел в литературу; мне особенно запомнилась история рабочего-поэта Семена Астрова. Молодой рабочий Астров жил в Париже; он перенес много тяжелого: чтобы не умереть с голоду, нанимался мыть окна, а стихи писал бодрые, жизнерадостные. Послал свою тетрадь Горькому. Стихи Алексею Максимовичу понравились и при его содействии были напечатаны в лучших журналах.

Тимофеев не без гордости вспоминал, как Алексей Максимович пользовался его медицинскими советами, а Новиков своим тамбовским говорком рассказывал о писательской взыскательности Горького, о его строгости в оценках работы и роста литераторов:

— Ох, и здорово сердится, когда вещь плохая! Такую задаст баню, что никогда не забудешь.

Горьковскую строгость пришлось испытать в те дни и мне. В моих литературных вкусах и суждениях было много незрелого, наносного, взятого напрокат у писателей самых разных школ.

Не умея уважать свое, индивидуальное, я рядился в платье с чужого плеча. Такой маскарад вызвал со стороны Горького резкую критику:

...«Вы еще молоды, но у вас есть кое-что свое, это вы и должны беречь, развивать, говорить же, что «я решил быть поэтом прекрасной дали, грядущего Эдема, града невидимого и влюблен сейчас в слово «Рай» — все это вам не нужно. Все это — дрянь, модная ветошь, утрированный лубок и даже языкоблудие. Каким вы будете поэтом, это неизвестно ни вам, никому...

«Вы пишете: «исключительно гражданским поэтом быть нельзя», — а разве вас кто-то приглашает именно на эту роль? Я не знаю, что такое гражданский поэт и военный, я знаю только хороших поэтов и плохих. Нужно стремиться быть именно хорошим, серьезным поэтом, а для сего необходимо выкинуть вон из головы всю современную бутафорию и театральщину, все эти «дали», «Эдемы», «финалы», дохлых «Прекрасных дам» и прочую дребедень. И чем скорее это будет сделано, тем лучше для того, кто это сделает. «Гражданственность» же доступна только таким великим поэтам, как Гюго, Верхарн, — о ней вы подождите думать. Пишите просто, искренно о своей душе и от своей души, никому не поддаваясь, никого не слушая... У всех учиться, никого не слушать, — вот

что хорошо для вас, как и для всякого, начинающего говорить с миром.

«На сердитое письмо не обижайтесь. Это слова сердитые, а не мысли.

«Будьте здоровы, учитесь, умейте смотреть в лицо всем и всему...»

Сердитое письмо, конечно, не обидело меня, так как я понимал, что строгость Горького идет от великой любви к литературе и от искреннего желания помочь мне. За «сердитыми» строчками я чувствовал заботу и внимание.

Тысячи километров отделяли Москву от Капри, но благодаря письмам, встречам с друзьями Горького, разговорам о нем, — я ощущал Алексея Максимовича где-то совсем близко. Та атмосфера, которой я дышал, была проникнута обаянием его личности.

Запомнился литературный вечер, на котором известная артистка декламировала горьковскую сказку «Товарищ». Яркая и глубокая передача оттеняла мужественный пафос произведения. Помню теплый полумрак зала, десятки блестящих глаз, стройную женскую фигуру над аплодирующей наэлектризованной толпой.

Если многие литераторы, заявившие в 1905 году о своих революционных настроениях, впоследствии быстро отказались от них, то буревестник революции, Горький, в самые тяжелые годы реакции оставался верным рабочему классу пролетарским писателем. Он горячо выступал против вредных тенденций буржуазной литературы.

Газеты той поры много писали о самоубийствах среди учащейся молодежи, — о целой эпидемии самоубийств. Люди, отравленные ядовитым дыханием безвременья, уничтожали себя с ужасающей простотой. Даже в небольшом кругу моих знакомых за эту зиму было несколько самоубийств. Особенно поразила меня смерть семинариста, Якова Виноградова, получившего, как и я, волчий билет. Он не вынес горя материдьячихи и застрелился, зарядив охотничье ружье за неимением пули самоварной гайкой.

Модные буржуазные литераторы, вместо борьбы с порождениями бесправием русской жизни упадочными настроениями, сами проповедывали уход от жизни, воспевали смерть.

Вся жизнь, весь мир — игра без цели,
Но надо жить,—

мрачно утверждал Федор Сологуб.

«К жизни, к работе, а не к смерти надо звать», — отвечал на это Горький («Издалека»).

Его имя было символом жизни, борьбы, надежды, бодрости. К его голосу прислушивалась вся лучшая передовая часть народа.

Незадолго до моего приезда в Москву Алексей Максимович напечатал в газете «Русское слово» статью об инсценировках романов Достоевского: «Братья Карамазовы», «Идиот» и «Бесы» как о «затее сомнительной эстетически и безусловно вредной социально». Статья заканчивалась словами:

«Я предлагаю всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни, протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров».

Вокруг статьи поднялся шум. Некая группа литераторов в вечернем издании «Биржевых ведомостей» обвиняла Горького в попытке «установить цензуру общества над свободой художника».

Друзья Алексея Максимовича предложили мне подкрепить его обращение подписями шанявцев.

Знакомых в университете у меня еще не было. Для получения подписей требовалось пред началом лекции подняться на кафедру и произнести речь. Я был очень застенчив и к тому же не обладал ни ораторским даром, ни достаточно громким голосом. Тем не менее, решил «выступить».

Потрясая перед сотнями глаз листом чистой бумаги (для подписей), я призвал аудиторию откликнуться на обращение Алексея Максимовича и присоединиться к его протесту. Случилось то, чего я боялся: голос мой пропал под сводами огромного зала. Результат выступления был очень скромен, — и я рассказываю об этом маленьком случае лишь как о психологическом показателе моего отношения к Горькому, — отношения, выражавшего настроение многих.

Выделив стипендию на мое образование, Горький и сам воспитывал меня, как других, начинавших «говорить с миром».

Никакой учебник литературы не мог дать того, что я находил в горьковских письмах.

Алексей Максимович внушал, что труд писателя — это подвиг. Напутствуя меня на работу поэта, писал:

«Не забывайте, что литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее».

Напоминал о связи слова с жизнью, о требованиях, которые предъявляет писателю действительность:

«Русь нуждается в бодрых песнях, довольно минорничали».

Хотел вызвать во мне сознательное отношение к окружающему:

«Для вас Русь — свое, ваше дело. И будет очень хорошо для вас и для нее, когда вы поймете, что в ней от Востока, от грузной Азии, что — от Запада с его бодрым отношением к жизни, с его неуклонной борьбою против всех и всяких догматов...»

Убеждал расширять круг чувств и настроений:

«Лирик вы. Это — хорошо. Но — иногда человек должен схватить сам себя за сердце, нет ли там, в сердце, кроме тихой грусти, — горькой усмешки, гневной искорки, иронического яда? Уж если вы выходите на люди — показывайте себя богаче, всего себя развертывайте...»

И повторил эту мысль в другом месте:

«Не настраивайте своей души на один тон, а старайтесь, чтоб она говорила всеми глаголами, чтоб ничто не было чуждо ей. Не обижайте себя.

«Заметив, что вас особенно усиленно тянет к чистой лирике, попытайтесь поискать, нет ли рядом с этим тяготением чего-либо иного, противоречивого ему? Развертывайте себя шире, раскрывайте глубже...»

Иногда Горький давал и темы. Когда я уехал на лето в родное село, он советовал:

«Вот теперь, живя в деревне, вспомните город, сопоставьте его с деревней, может быть хорошо будет?»

Алексей Максимович звал всматриваться в людей, вдумываться в жизнь и быт. Заставлял говорить о том, что пред глазами, а пред глазами у меня была деревня с ее мелкособственническим укладом, с притупляющим трудом в будни, с пьяными драками по праздникам, деревня, ограбленная кулаками, придавленная полицейским произволом.

Горький подсказывал:

«О сенокосе писали?

«О лесных пожарах хорошо можно написать...»

Спрашивая, не пробовал ли я писать прозой, предлагал:

«Напишите прозой праздник в деревне, как вы его видите, и будни. Попробуйте!

«Коротко, просто и так, будто вы все это сердечно любимой вами девице пишете или рассказываете матери, которую тоже любите глубоко, страстно и бережно».

Стремление к простоте, к сжатости, к искренности Горький считал обязательной предпосылкой удачной работы.

Осуждая современных «книжников и спортсменов слова» за увлечение звуковыми эффектами, он утверждал:

«Что будет с ними дальше, не знаю, но пока — они все еще музыкантствуют. Я не отрицаю музыку слова, но хорошая музыка всегда проста, все хорошее просто, а «косицы» и «косится» — и не просто и не хорошо».

И настаивал на том, чтобы я учился у Пушкина и других классиков, знакомился с фольклором.

Первые же, обращенные ко мне, строки А. М. Горького начинались советом:

«Читайте почаще Пушкина, это — основоположник поэзии нашей и всем нам навсегда учитель. Тем, кто кричит, что Пушкин устарел, — не верьте, — стареет форма, дух же поэзии Пушкина нетленен. И в поэзии надо быть хоть немного историком, т. е. человеком, честно и сознательно относящимся к своему историческому вчера...»

Проводя линию от Пушкина к нашим дням, А. М. Горький противовес новшествам литературной моды, выделял в современной поэзии пушкинскую реалистическую традицию.

«Вы, видимо, немало читали Б(альмон)та и современников, это сказалось излишней цветистостью ваших стихов, в чем гораздо больше молодого форса и задора, чем вкуса и музыки. Красота — в простоте, это — аксиома. Как бы мы все ни метались, а во едину от суббот — и постоянно — молим: попроще пояснее! Детские болезни, разумеется, обязательны в наших условиях, но — можно попытаться избежать скарлатины подражания — хотя бы и невольного — модернизму, не столь ценному у нас, как об этом принято думать...»

На мое решение прочитать Пушкина заново А. М. Горький отозвался такими строчками:

«Посмотрите, как широк диапазон его интереса к жизни, как много он охватил на земле, ему равно доступны и русская сказка и «Скупой рыцарь», «Борис Годунов» и работник Балда, — вот как нужно брать жизнь!..

Прочитали бы вы после Пушкина-то Шелли и Гейне, почитайте Мицкевича, Сырокомлю, — последний не велик поэт, но — оригинален.

А всего больше читайте русский эпос, былины, сказки, изучите русский язык по народным песням...»

Из писем А. М. Горького я впервые узнал о необходимости экономить словесные средства, об искусстве немногими словами выражать многое, о законах композиции. Одобряя мои новые стихи, Алексей Максимович прибавлял:

«Но будьте строже к себе, не многословьте, нужно, чтобы

в стихах не было бородавок. Но всякий цветок краше от лишнего лепестка...»

А по поводу другого стихотворения замечал:

«Гармоника» — длинно, эти вещи надобно писать короче и не столь скучно. Надобно писать, «чтобы словам было тесно, мыслям» и чувству «просторно»...

Иногда мои рукописи возвращались от А. М. Горького с его помстками и приписками. Карандаш Алексея Максимовича подчеркивал неблагозвучные сочетания согласных, отмечал слова с неправильными ударениями, искусственные или небрежные рифмы.

«Поле ли» — «пролили», «ветерком оне» — «гомоне», — писал Горький, — это напрасно считается «изыскапностью». Это более удобно для юмористической поэзии, это то же самое, что:

Станция Куокала
Сердце мне раскокала

и приличествует старикам Минаеву, Курочкину. Рядом с такой «виртуозностью» вы рифмуете: «дымные» — переливные». Не годится, сударь! Конечно, 19 лет многое объясняют, но, взявшись за серьезное дело, растите скорей...

«Писать «крылышки» — «мокры лужки» стыдно! Это не поэзия, а фокусничество и ему нет места в поэзии. Дм. Минаев все равно останется непревзойденным современными словотерами, все фокусы сделаны им.

Зазвонил к обедне колокол,
Кот в то время молоко лакал,—

это искусные «крылышки» — «мокры лужки»...

На полях стихотворения о величественной поступи пролетарских батальонов Горький приписал:

«Следовало дать больше гулких тяжелых слов».

Зачеркнув заключительную строфу другого стихотворения, дописал:

«Конец сладок, излишен... Это можно бы написать короче, лаконичнее».

Такие замечания были хороши своей наглядностью.

Но, давая советы и указания, главное условие успеха Горький видел в самостоятельности автора, в его внутренней независимости от других писателей. Он учил искать свое, индивидуальное, и оберегать эту драгоценную творческую первооснову от посторонних воздействий. Свою первую заочную беседу со мной о полезном и вредном для начинающего поэта Алексей Максимович закончил фразой:

«А впрочем — желаю всею душой — ищите себя самого...»

И через несколько строк повторил:

«Ищите себя. Всех слушайте, всех читайте, — никому не верьте и везде учитесь. Сим и можете победить».

Из письма в письмо он твердил:

«Скажите себе: у меня есть свое! И берегите это свое...

«Примите добрый совет человека, желающего свободного развития дарованию вашему: всех слушайте, все читайте, всему учитесь, но — берегите, но — ищите себя самого, никому не подчиняйтесь, все проверяйте и не давайте души вашей в плен влияниям, чуждым ей...»

Дорожа самобытностью молодого автора, А. М. Горький желал ей свободного и полного выявления. Он относился к чужому дарованию так бережно, так любовно, словно имел дело с хрупким и сложным инструментом, способным пострадать от неосторожного прикосновения.

«Вот вы, дорогой мой, выходите на широкую дорогу, теперь вас будут читать десятки тысяч людей, — берегите себя... Учитесь у всех — не подражайте никому».

Летом 1914 года А. М. Горький, живший в то время в Финляндии, пригласил меня в гости:

«Вам, сударь, нужно приехать ко мне, у меня недурная библиотека по фольклору, вот бы вы и почитали хорошенько, да и по истории я не беден книгами.

Приезжайте? Буде нужно денег, — вышлю. Но приезжайте в сентябре, не раньше, а то я до августа буду занят очень и не в себе...»

Через несколько дней вспыхнула мировая империалистическая война. Полагая, что Алексею Максимовичу не до гостей, приглашением я не воспользовался.

В село, где я проводил лето, художественная литература доходила лишь в виде дешевых еженедельников, — таких, как «Огонек», «Панорама», «Синий журнал»; их приносили, приходя на праздники домой, мои приятели — односельчане, работавшие на ивановских фабриках. От журналов шел густой дух монархизма и шовинизма. «Прославленные литераторы» в стихах и прозе усиленно брящали оружием. Казалось, на все невоенные темы кем-то наложен строгий запрет, все человеческие чувства мирного времени объявлены нелегальными. Это действовало удручающе.

В таком настроении я получил письмо Горького:

«Дмитрий Николаевич, нет ли готовых стихов? Простых, не

о войне, а просто — о жизни, о деревне? Давайте побольше, нужно для сборника, в котором намерена сотрудничать недурная компания...

Посылайте скорей по адресу: Петроград, Кронверкская улица, д. № 20, кв. 8. Инженеру Александру Николаевичу Тихонову для А. М. Пешкова...»

Эти немногие строки говорили так много! Значит, еще есть люди, думающие и чувствующие по-своему, и есть возможность писать, работать вместе с ними.

В эту осень мне пришлось призываться на военную службу. Как рекрут я был «забракован», но учиться уже не удалось. Новый 1915 год я встретил в деревне. В январе пришло другое письмо Алексея Максимовича:

«Дмитрий Николаевич, — гласило оно, — стихи ваши я получил... Но — со сборником мы опоздали и выпустим его только осенью. Сообщите, могу ли отдать часть ваших стихов «Со-вр(еменному) миру», а остальное раздать по другим изданиям?..

«...Пишите по адресу Тихонова, я вижу его часто и письма ваши не залежатся...»

◆

Вскоре после этого я побывал в Москве и узнал, что сюда собирается приехать Горький. Я решил не возвращаться в село, пока не увижу Алексея Максимовича.

Он приехал в апреле, остановился у родных. Идя к Горькому, я очень волновался.

Я не застал Алексея Максимовича, но мне сказали, что он скоро будет дома, знает о том, что я приду, и просил подождать.

Сын Горького, гимназист, Максим начал показывать мне фотографические карточки отца.

Потом мы стояли на балконе и с высоты четвертого этажа смотрели на обтаявшую мостовую, на черные, еще голые ветки деревьев. Был чудесный солнечный день с голубым небом, с мягким влажным ветерком, — один из тех дней ранней весны, когда воздух бодрит и опьяняет, а сердце волнуют смутные надежды.

Послышалось цоканье копыт, показалась извозчичья пролетка. Вот она остановилась около нашего подъезда. С пролетки сошел человек в шапке запорожца и длинном пальто.

— Папа, — сказал Максим.

Мы вернулись в столовую. Через минуту в прихожей раздался низкий гудящий голос. В дверях показался А. М. Горький, очень высокий, слегка сутулый, одетый в черное. Его не-

большие голубые глаза приветливо смотрели из-под косматых бровей, под прокуренными усами светилась мягкая улыбка.

— Так вот вы какой, — вглядываясь в меня, сказал он густым окающим басом: — Ну, здравствуйте, здравствуйте!..

Я почувствовал пожатие крупной худой руки. Мне казалось, что А. М. Горький внес с собой что-то бодрящее и молодое, как апрельский воздух.

Он сразу заговорил о том, что мои стихи пора издать отдельной книжкой, что мне надо поездить, посмотреть Русь, ее народ.

— Подождите, мы вас и за границу отправим!..

Я с восторгом слушал эти ласковые, льнувшие к сердцу, слова.

Пока готовили стол для обеда, А. М. Горький провел меня в соседнюю комнату, сел, закурил папиросу. Продолжая беседу, начатую в столовой, он снова вернулся к моим стихам. Алексей Максимович находил их живописно-яркими, как полотна художника, который нравился ему, — была названа фамилия, не удержавшаяся в моей памяти. Вместе с этим он видел у меня серьезный недостаток — отсутствие жанра.

— Вы, сударь, ходите по земле и как будто не замечаете, что на ней кроме цветов, деревьев, птиц живут также люди. Вам необходимо полюбить людей, — их труд, радости, заботы...

Алексей Максимович сидел спиной к окну. На его угловатом и моложавом лице с мягкими, как беличий мех, пушистыми усами лежала полутень, но оно освещалось другим, внутренним светом, — этот свет лучился из глаз и вспыхивал доброй улыбкой. То несколько напряженное состояние, которое я испытывал в ожидании встречи с ним, теперь прошло. Мне стало хорошо, легко. А. М. Горький держался так просто, с такой душевной чуткостью, что в его присутствии хотелось быть самим собой.

Куря и по временам глухо кашляя, он начал рассказывать о каприйских рыбаках и неаполитанских рабочих. «Сказок об Италии» я еще не читал, но рассказ Горького звучал для меня сказочно. Алексей Максимович говорил о врожденной артистичности людей, среди которых жил до приезда на родину, о их любви к искусству, музыке, песне. Раз в году они устраивают праздник песни, музыкальное соревнование. Песня, победившая на конкурсе, распевается на следующий день и продавцами макарон, и горничными, и газетчиками, и уличными мальчишками. Однажды лучшую песню сложил простой извозчик...

— И грамотность там стоит очень высоко. Прислуга, пока на плите готовится суп, читает газету...

Довоенная Италия была сравнительно более культурной, бо-

лее свободной страной, чем отсталая царская Россия. Прошли годы — и враг культуры, фашизм, превратил Италию в страну свирепого террора, поставив итальянских тружеников в положение полукрепостных рабов. На территории же России вырос могучий Союз Советских республик, поднявший знамя подлинной, социалистической демократии, подлинной культуры, и советская женщина не только читает газеты, но и управляет своим государством.

Но тогда, в 1915 году, великий и талантливый русский народ шел по приказу царских генералов в подготовленную капиталистами кровавую бойню.

Все, о чем говорил Горький, было невозможно в стране городовых, урядников, волчьих билетов, вечных недородов. Но в окне молодо синело весеннее небо, горьковские глаза тоже голубели по-весеннему. И верилось, что сказка-быль Алексея Максимовича станет былью и здесь у нас.

А Горький, рассказав о карнавале, неожиданно прочел стихи о влюбленных, которые целовались на зеленом лугу. Стихотворение было небольшое — строк в восемь или двенадцать. Алексей Максимович читал глуховато, но внятно и с чувством. А, прочитав, спросил:

— Нравится?

И прибавил:

— Вот как надо писать!

Мы вернулись в столовую, — вся она была в теплых бликах. Поглядев в окно, А. М. Горький спросил меня о московских знакомствах, о влияниях, которые я испытывал в период своей городской жизни. В вопросе мне послышалась нотка заботы...

За столом я старался запомнить человеческий облик Алексея Максимовича: скользящую под усами усмешку, взгляд голубых глаз, бритый, резко очерченный подбородок, лоб в морщинах, волосы ежиком. На портретах я привык видеть Горького в черной косоворотке. Теперь на нем был пиджак, крахмальная манишка. Этот костюм только оттенял своеобразие его мощной фигуры и характерного лица.

Вот Алексей Максимович привычно выпил бокал пенистой на вид, лекарственной жидкости, — кажется, смесь кефира и яичных белков. Вот он ворчливо заговорил о «шипах» своей славы: целое утро уличные зеваки преследовали его назойливым любопытством. И бестолковый шум безалаберной Москвы не нравился Горькому.

Потом Алексей Максимович начал разговор с сыном. Максим — в семье его звали Макс — смуглым цветом кожи и тем-

КР-4032

ными глазами походил на мать, но в линиях лица было много отцовского. Он любил цирк, физкультуру, увлекался французской борьбой.

Горький слушал его с ласково-снисходительной и сочувственной улыбкой. Может быть, он вспоминал свою юность, цветы которой грубо обрывала жизнь «в людях», и радовался за Максима, жившего иначе? Может быть, узнавал в нем себя, свои черты?

После обеда в руках Алексея Максимовича появился сборник стихов поэта-портного И. А. Белоусова «Атава». В стихах Белоусова, на мой взгляд, нехватало техники. Горький согласился, что «Атава» могла бы быть ярче.

Очень хотелось побыть возле Горького подольше, но пора было уходить. Алексей Максимович спросил, есть ли у меня темы? Я рассказал содержание поэмы, которую хотелось мне написать.

Алексей Максимович одобрил сюжет поэмы и посоветовал:

— Только пишите ее разными размерами. Когда большая вещь написана одним размером, трудно читать. Напишете — присылайте мне...

Кроме поэмы, я должен был прислать А. М. Горькому все остальные свои стихи для издания книжкой. Провожая меня, Алексей Максимович вышел в прихожую — и в его взгляде, улыбке, голосе я еще раз ощутил золотые нити той сердечной теплоты, которая наполняла строки его писем и книг.

Хрустя ледком подмерзших к вечеру луж, в которых отражалось зеленоватое небо, я уносил в памяти обаятельный образ прекрасного человека, великого писателя.

Позднее я иногда видал Алексея Максимовича «не в себе», — занятым, озабоченным, но впечатление первой встречи было самым прочным. В глазах у меня стоял человек, увиденный мной в апреле 1915 года. Человек этот всюду страстно искал ту способность к творчеству, которой в величайшей степени был одарен сам. Творческое начало, талант, он ставил очень высоко.

«Будьте здоровы и берегите свой талант, — так заканчивалось одно из его писем: — На свете немало хорошего, а талант самое лучшее».

Он и сам берег нас, молодых безвестных литераторов, боялся за наши неокрепшие силы. Любовное внимание А. М. Горького к начинающим писателям, в которых ему чудились проблески одаренности, выражалось в самых разнообразных формах — от переписки до включения фамилии автора в перечень сотрудников журнала. Помню, с какой гордостью я увидал в

подписном объявлении журнала «Просвещение» свое имя рядом с именем самого Горького. Такие вещи подбадривали и окрыляли. Строки горьковских писем глубоко западали в сердце его адресата, ибо тоже шли от сердца, от горячего желания помочь, вразумить, поддержать.

Таким вот — отзывчивым другом безыменных писателей, робко вступающих в литературу, их наставником и вдохновителем — виделся мне А. М. Горький, когда сообщал:

«На днях читал ваши стихи разным людям, почти всем они очень понравились, это меня крайне обрадовало!»

«Ваши стихи в «Современном мире» всем нравятся, — поздравляю, сердечно рад за вас!..»

Сердечную отзывчивость А. М. Горького, его готовность помочь я испытал однажды и не по литературному поводу. Заболел мой младший брат. В нашем селе больницы не было. Городской врач, осмотрев мальчика, нашел признаки туберкулеза. В то время (лето 1914 года) в газетах появилось сообщение об улучшении, наступившем в здоровье Горького. По словам одного из моих знакомых, где-то была напечатана статья Алексея Максимовича о применявшемся к нему новом радикальном способе лечения туберкулеза. В своем горе я обратился к Горькому с просьбой рассказать, как и чем он вылечился?

Алексей Максимович ответил:

«Дмитрий Николаевич, статьи о том, «как я вылечился», я нигде не напечатал.

«Вылечил же меня д-р Ив. Ив. Манухин, освещая мне селезенку лучами Рентгена. Это — совершенно новый метод лечения туберкулеза и некоторых других инфекционных заболеваний, — метод, дающий все более прекрасные результаты.

«Д-р Манухин живет в Петербурге, Сергиевская, 83, но предупреждаю вас, что он уже закончил до осени прием больных.

«Большинство докторов, применяющих метод Манухина, применяет его неправильно и берет за это дорого, но есть в Москве д-р Тихомиров, которому Манухин передал свой метод лечения непосредственно; если вы хотите, я дам вам записку к Тихомирову. Отвечайте: Мустамяки, пансион Ланг...»

Через несколько дней я получил от Алексея Максимовича рекомендательное письмо И. И. Манухина к доктору Тихомирову.

◆

Месяца через три после моей первой встречи с А. М. Горьким он снова позвал меня к себе:

«Дмитрий Николаевич, не хотите ли приехать ко мне в Фин
ляндию? Поживете другими впечатлениями, я предложу ва
подстрочные переводы армянских, латышских и других поэто
а вы попробуете придать им форму. Поговорим.

«Если согласны, — отвечайте по адресу: Петроград, Литов
ская, дом Перцова, квар. 110, «Парус», мне...»

И прислал через И. П. Ладыжникова денег на дорог
Осенью я поехал.

На станции Мустамяки я вышел из вагона и, узнав, что д
деревни Нейволы, в которой жил Горький, недалеко, — бодр
двинулся в сумерки октябрьского вечера. Шел лесом. Стемне
ло, а деревни все не было. Иногда в стороне показывался
пропадал огонек одинокого строения, звякала бубенцом корова
Ветер шумел в черных деревьях; над ними темнело беззвездно
небо.

Из моих вопросов насчет дороги встречные финны понима
ли только одно слово: «Горький», но этого оказалось вполн
достаточно, — слово довело меня до самой дачи Алексея Мак
симовича.

Было, видимо, уже поздно, но в доме еще не спали. Свет
падавший из окон, слабо озарял ступени крыльца и входную
дверь. Я вошел в переднюю и спросил прислугу, дома ли Алек
сей Максимович? Он был дома, вышел на зов и в первый мо
мент не узнал меня — потому ли, что я, страдая зубной болью
обвязал щеку носовым платком, или оттого, что мое появлени
в такой поздний час было неожиданностью. В следующую ми
нуту лицо Алексея Максимовича потеплело, он спросил озабо
ченно:

— Что с вами? Вы больны?..

Удивился, что я на станции не нанял подводы, и повел мен
за собой. Уже на ходу, обернувшись ко мне, он справился:

— Ну, что? Много написали стихов?

И, узнав, что в потертом саквояже, который я оставил у ве
шалки, кроме всего прочего лежит большая поэма, бодро сказал:

— Ладно, почитаем!..

Идя за А. М. Горьким, я очутился в просторной, уютной
комнате. На столе мягко светила затененная абажуром лампа
За столом, рассматривая гравюры, сидели три человека: моло
дой смуглый брюнет, армянский поэт Терьян, рядом — плот
ный, с энергичным выражением бритого лица А. Н. Тихонов,
адрес которого я посылал зимой стихи, и юная женщина, его
жена.

После того как Горький познакомил меня с гостями, возоб
новился прерванный моим приходом разговор.

С сердитой иронией Алексей Максимович говорил о духовной неразборчивости читателя-мещанина:

— Он не читает, а глотает книгу, как крокодил — бревно. Проглотит Толстого — начнет пожирать Аверченка, покончит с Аверченком — набросится на Диккенса. Книга не вызывает в нем никакой работы мозга, не оставляет никакого следа...

Горький покашливал, выбрасывал из-под густых усов струйки табачного дыма.

Терьян спросил:

— Почему вы, Алексей Максимович, не пишете стихов?

— Я пишу их, только никому не читаю, — ответил Горький, улыбаясь так, что трудно было понять: шутит он или говорит серьезно.

Он помолчал и, усмехнувшись, прибавил:

— Да-с, пишу. А потом в один прекрасный день возьму да на удивление всем и напечатаю книгу любовной лирики.

Худощавый, с горячими глазами и шапкой черных кудрей, Ваган Сукиасович Терьян учился в каком-то петроградском институте. Имя его было уже известно в литературе Армении. Стихи Терьяна переводили на русский язык Брюсов и Бальмонт. Вскоре после революции поэт умер. Из скупых строк некролога я узнал то, чего не сказал Алексей Максимович, знакомя меня с Терьяном: еще тогда, в пятнадцатом году, он был большевиком и видным борцом за освобождение армянского народа.

А. Н. Тихонов писал повести и помогал А. М. Горькому в его издательских начинаниях.

Обращаясь к Тихонову и Терьяну, Алексей Максимович заговорил об издании сборника армянской литературы. На столе появились бумага и карандаш. Терьян называл фамилии армянских литературоведов и русских поэтов-переводчиков, которых можно привлечь к работе над сборником. Горький записывал.

Потом начался разговор о новостях писательского мира. Терьян рассказал, что в литературных салонах Петрограда появился талантливый крестьянский поэт, — совсем еще юноша, он своими яркими образными стихами возбудил общее внимание к себе. Поэта, о котором шла речь, я встречал в университете Шанявского. Горький спросил:

— Ну, что он? Каков?

Через несколько дней я убедился, что интерес Алексея Максимовича к новому имени не был случайным любопытством. Встретив в одном из журналов стихи этого автора, Горький прочитал их, но, кажется, они не произвели на него большого впечатления. Тем не менее, в дальнейшем стихи молодого поэта

появлялись в «Летописи». А. М. Горький продолжал присма
риваться к нему, как к сотням больших и маленьких литерат
ров, однажды попавших в поле его зрения.

Спать меня устроили наверху рядом с кабинетом Алекс
Максимовича. На столе около постели горела свеча и лежа
книга, но разве можно было читать в этот вечер?

Утром, спустившись в столовую — комнату, где накану
сидели гости, — я встретился с Терьяном. Он уезжал в Петр
град. Мы вместе позавтракали. Терьян сказал:

— Алексей Максимович хорошо отзывается о вас. По е
словам, если вы будете работать, из вас выйдет толк...

В окнах синело ясное небо, обещая погожий теплый день.

Большой двухэтажный дом, куда пригласил меня Горьки
стоял на холме. Из окон было видно, как на юг и запад, сло
но темные толпы монахов, уходят хмурые хвойные леса. О
спускаются в долину к синему озеру, сбходят его и простир
ются до самого горизонта, густые и туманные.

Простившись с Терьяном, я, в сопровождении жившей в д
ме остромордой собаки, пошел в сад. Утро было тихое и про
ладное. У подножия деревьев лежали груды разноцветных ка
ней и целые гранитные глыбы, красные, иссиня-серые. Они гл
боко вросли в землю, покрылись мхом, травой и сухой хвое
Вспомнилось затверженное в детстве:

Суровый край: его красам,
Пугаяся, дивятся взоры;
На горы каменные там
Поверглись каменные горы.

Камни, обломки скал всюду лежали и в лесу. Рядом синел
крупные ягоды черники, застывшими каплями розового воск
висели брусничные кисти. Часто в лесу попадались изгороди, че
рез которые нужно было перелезать. Весь лес был разделен их
на небольшие участки. А в деревне выкапывали картошку. Н
пряслах сушилась картофельная ботва. Светило нежаркое осе
нее солнце. Блестели стекла окон.

За обедом Алексей Максимович спросил меня:

— Ну, как? Нравится вам Финляндия?

И так же, как весной рассказывал об итальянцах, тепер
рассказал о тружениках, населяющих эту землю камней
мхов, — о жизни, построенной на более разумных началах, че
в отсталой царской России. Дух бодрости и любви к труду ви
тал над суровым финским краем. Горький рассказал о трудоспо
собности финского народа, о его стремлении к культуре. Ма
ленький клочок каменистой почвы целый год кормит здешнего
крестьянина. В его хозяйстве используется все, — даже карто

фельная ботва, которая зимой идет в корм скоту. Финские рабочие ездят на работу на велосипедах, бывают в народном доме.

— А одеваются они...

Горький бросил взгляд на мой далеко не новый пиджак, на смятую ситцевую рубашку и договорил:

— ...лучше, чем вы.

Население буржуазно-демократической Финляндии пятнадцатого года, входившей тогда в состав Российской империи, пользовалось относительно большей свободой, чем русский народ, живший под тяжелым гнетом самодержавия. Дальнейшие исторические события показали, что подлинно свободной и культурной жизни трудящиеся могут добиться, лишь взяв в свои руки власть. В то время как русские рабочие и крестьяне, совершив октябрьскую революцию, завоевали такие великие права, каких не имел и не имеет ни один народ, — рабочие и крестьяне Финляндии очутились под игом фашистской буржуазии.

Подали пачку столичных и провинциальных газет. Алексей Максимович начал просматривать их.

У ног его дремала собака.

От камина, в котором колыхались огненные языки, веяло сухим приятным теплом. На блестящий кофейник, на стаканы падали алые отсветы.

Отодвинув газеты в сторону, Горький повел речь об успехах современной техники, о том, какие мощные средства изобретает мысль для избиения людей. Разбойничьи силы империализма в погоне за наживой направляют творческую энергию разума на разрушение жизни, но их власть временна. Разум, люди труда, наука сделают жизнь сказочной. Таков был смысл того, что говорил Алексей Максимович.

Я спросил Горького: кто, по его мнению, выйдет победителем из этой войны — немцы или союзники?

Он ответил:

— Вероятно, немцы победят нас здесь, а их победят там.

«Там» означало: на Западе.

Алексей Максимович поднялся в свою рабочую комнату. В эти дни он писал небольшие рассказы, которые через несколько времени прочел вслух.

Меня поместили внизу, в комнате с дверью, выходившей на балкон. На балконе я нашел стихи А. К. Толстого, забытые здесь, может быть, кем-то из летних гостей Горького. Книгами были полны и большие шкафы, стоявшие в коридоре. Я вынул наудачу несколько томов, — от пожелтевших страниц и старомодного шрифта исходило своеобразное очарование. Это был некрасовский «Современник».

Вечером пришли Тихоновы, жившие где-то по соседству. Сидели за чаем.

А. М. Горький с болью говорил о грабительской войне, о том, что темные силы реакции, боясь последствий кровавой бойни, стараются разжечь в народе вражду к евреям.

— Солдатам на фронте внушают, что евреи — предатели, враги!..

Лицо Алексея Максимовича было строго, резче проступили морщины на лбу.

— Для чего это делается? Это делается по мотивам очень простым, очень ясным, — русский народ уже выработал известные социальные потребности и, кончив войну, может очень настойчиво и грозно заявить о необходимости полного удовлетворения его социальных и политических нужд. Поэтому темные силы хотят отвлечь народ от революционных задач и стремлений, обессилить, разъединить его...

Горький взмахивал руками, — широкие твердые манжеты подчеркивали их худобу.

В Москве я видел Алексея Максимовича женственно нежным, материнski ласковым, расточающим вокруг себя тепло и свет. Сейчас он горел мужественной жгучей ненавистью к бездарному царскому правительству, толкавшему на гибель многомиллионный талантливый народ. Алексей Максимович, близко соприкасаясь с революционным подпольем, с лучшими представителями рабочего класса, уже чувствовал приближение революции.

После чаю он пригласил всех в свою рабочую комнату. Часть ее занимал длинный некрашеный стол, загроможденный книгами, рукописями, чистой бумагой. На столе стояли фотографии Льва Толстого и Чехова, — обе с дарственными надписями.

А. М. Горький подошел к шкафу и достал из него небольшой ящик. В ящике были монеты и медали.

Алексей Максимович сел и, склонившись над ящиком, захватил пригоршню металлических кружков, белых, желтых, темных. Пересыпая их в ладонях, он сказал с легким оттенком гордости в голосе:

— Недурная коллекция! Все сам собрал.

Высыпал монеты обратно и стал показывать каждую в отдельности. Металлические кружки были памятниками разных исторических событий, отражением культур, эр, давно исчезнувших государств.

Держа на ладони большую золотую монету эпохи Возрождения с чьим-то гордым профилем, любуясь изяществом чеканки, он говорил:

— Посмотрите, как сделана эта головка!.. Какая благородная красота!..

Золотую монету сменила кожаная гривна времени удельных князей:

— А вот это — совсем в другом роде...

В коллекции оказалась и серебряная медаль, изготовленная царским правительством в русско-японскую войну на случай победы над врагом. На медали были выбиты торжественно-нелепые слова: «Да вознесет вас господь в свое время!»

Усмехаясь, Алексей Максимович рассказал ее историю. Проект медали с надписью: «Да вознесет вас господь» был представлен на «высочайшее утверждение». Как ни скудоумен был Николай Второй, однако после Цусимы даже он чувствовал, что такая медаль не по времени. Поэтому он написал на проекте: «в свое время». Резолюция оказалась под словами изречения и была сочтена министрами за добавление к нему.

Памятник самодержавной глупости со звоном лег в ящик...

Летом 1914 года в нижегородском художественном музее я видел подаренные А. М. Горьким картины.

Так же, как монеты, Алексей Максимович собирал гравюры, старинные миниатюры, книги, фарфор, а собрав, отдавал свои коллекции в музеи, библиотеки, картинные галлереи.

Было удивительно, как широка, многогранна душа Горького, как его энергии хватает и на собирание предметов искусства, и на редактирование чужих рукописей, и на организацию различных изданий, — на десятки дел, каждое из которых оставляло глубокий след в русской жизни. Для той гигантской работы, какую делал А. М. Горький, нужны были необычайные силы. В эти дни и позднее мне приходилось слышать, как Алексей Максимович сравнивает других больших людей с былинными богатырями — Святогором, Василием Буслаевым. Но и сам он был богатырем. В том, как много он вместил в себя, как умел владеть своим временем, чувствовался человек будущего.

Гости ушли поздно.

Когда в доме наступила тишина, я из своей комнаты долго слышал раздававшиеся наверху размеренные шаги. Горький не спал, — думал, работал. В эти поздние часы его душа говорила с миром.

В горьковских воспоминаниях о Л. Андрееве есть фраза: «Ему было почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работой в тишине и одиночестве над белым чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов».

Сам Горький хорошо знал эту радость.

Прислушиваясь к его шагам, я вспоминал слова письма: «Литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее.

В Финляндии я увидел А. М. Горького великим труженико

Он сходил к завтраку и обеду, молчаливый и рассеянны светлоголубые глаза его были устремлены куда-то вдаль. Я в дел Алексея Максимовича в том состоянии, которое он опред лил кратким выражением: «не в себе», — сосредоточенным, у лубленным в свои мысли. Он молча пил кефир; развернув газ ту, читал, курил; барабаня по столу пальцами, думал о чем- своем и снова уходил в кабинет. Снова наверху раздавали глухие мерные шаги.

Иногда после обеда Горький приглашал меня на прогул Стояли теплые ясные дни. По лесному озеру скользили лодк в синем стекле воды отражались их паруса. В прозрачном во духе плыли серебряные паутинки.

Мы шли краем широкого шоссе. По сторонам неподвиж стояли прямые, высокие сосны и поросшие мхом ели. У подн жия их лежали серо-синие и красноватые валуны. Мимо н мелькали велосипедисты, резиновые шины эластично шумели п песку.

Алексей Максимович, в коричневой кожаной куртке, в че ной широкополой шляпе и без привычной папиросы, шел ле кой, спорой походкой странников, одним из которых он был юности, стремясь понять жизнь, познать людей. Заложив за сп ну руки, он смотрел на лес, на дорогу, на бежавшую впереди со баку. Мы сворачивали с шоссе, шагали полянами средь сизы кустов можжевельника и замшелых каменных глыб. Горьки раздвигал загородившие тропинку ветки и говорил:

— Стихи в журналах, обычно, идут на затычку пустой стра ницы. При отборе стихов редактор почти всегда руководитс соображением, достаточно ли известна фамилия автора. Эт полезно знать каждому молодому поэту...

Обходя лежавший на пути большой камень, он прибавил на ставительно:

— Держите всегда в памяти пушкинский завет «Поэту «Ты сам — свой высший суд; всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник?..»

Почти все разговоры А. М. Горького со мной носили тако же воспитательный характер, как и письма. Мне было двадцат с небольшим лет. Мой жизненный и литературный путь тольк еще начинался. Я нуждался в добром слове большого умног человека. И Горький не отказывал мне в таком слове.

После бесед с ним всегда было над чем подумать. Снова ра за два мне довелось испытать на себе требовательность Горь

кого, источником которой была горевшая в его сердце любовь к литературе. «Взявшись за серьезное дело, растите скорей», — сказал он в письме, а «расти» означало: учиться, упорно работать над собой.

Гуляя с Алексеем Максимовичем, я спросил его о том, какого происхождения финские камни? Удивленный моим незнанием, он коротко рассказал о ледниковом периоде.

— Неужели вы не читали об этом? — сурово, с упреком спросил Горький.

Сам он читал, знал, помнил, кажется, все.

Вечер на третий после приезда я показал Алексею Максимовичу свою большую поэму.

Положив рукопись на стол, Горький закурил папиросу и начал читать. С первой же страницы он нахмурился. Стало ясно, что стихи ему не нравятся. Прикасаясь к рукописи толстым двухцветным карандашом, он говорил:

— Стиля не выдерживаете, сударь. Нет, словарь ваш для такой работы еще беден, недостаточен...

Чем дальше читал Горький, тем строже становилось его лицо, взгляд — отчужденнее, голос — суше.

С болью сердечной слушал я его слова, — с болью и за свою неудачу и за то, как тяжело переживает ее Алексей Максимович. Мне хотелось взять злополучную рукопись, спрятать ее подальше, но на ней лежала рука Горького, пальцы руки выстукивали дробь, под аккомпанемент этой дроби он сказал с досадой:

— Жаль, что вы потратили труд и время так непроизводительно!

Зажег новую папиросу и, все еще будто сердясь, заговорил о том, что поэту необходимо писать не только стихи, но и прозу.

— Возьмите французских поэтов. Во Франции каждый поэт, для того чтобы обратить на себя внимание, должен написать книгу рассказов. Отчего бы вам не попытаться написать рассказ?

Я ответил, что не имею того жизненного опыта, который необходим беллетристу.

Горький возразил:

— Ерунда, опыт есть. Начните писать — и увидите, что все необходимое явится само собой.

Он немного помолчал, потом вдруг спросил:

— Вам нравятся стихи Сурикова?

Выслушав ответ, Алексей Максимович сказал, что учиться у таких поэтов, как Суриков, нечему, — учиться надо у Пушкина.

Проникнутые терпеливой покорностью тяжелой доле, взы
вающие к состраданию, стихи поэтов суриковского типа был
чужды бодрому, мажорному мироощущению Горького. Да и ма
стерства здесь он не видел.

Но еще резче отзывался Горький о тех современных поэта
которые, по его выражению, не писали, а «музыкантствовали»
Он ревниво берег русский язык от засорения его «местными ре
чениями» и словами придуманными, искусственными. Этих сло
он терпеть не мог.

Я попросил Алексея Максимовича прочитать напечатанные
последней книжке одного журнала, хорошие, по моему мнению
стихи. Взяв книжку, Горький начал читать. Наткнулся на слов
«цевня» и остановился.

— Что такое цевня? — спросил он.

— Цевница — свирель.

— А я думал: цепочка серебряная к часам, — не без едко
сти усмехнулся Горький. И заодно пробежал глазами напечатан
ные рядом стихи о березке.

— Привязались к этой березке — жестко сказал он. —
Секли их часто, что ли, этой березкой?

Конечно, дело было не в березке, а в бессодержательности
стихов, в тематической бедности, раздражавшей Алексея Мак
симовича.

Зато его отношение к Пушкину и Лермонтову было неиз
менно восторженным. Любовь Алексея Максимовича к великим
русским поэтам осталась такой же, как в дни отрочества, когда
он впервые испытал на себе волшебную силу книги.

— Вы послушайте, как это просто и прекрасно, — сказал
он однажды и прочел:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною...

Алексей Максимович читал медленно, отделяя каждое слово
и прислушиваясь к музыке стихов. По его лицу, просветлен
ному и растроганному, по голосу, звучавшему мягко и глуховато,
было видно, что, показывая мне эту жемчужину пушкинской ли
рики, он и сам любуется ее благородной красотой.

И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может,—

повторил Горький. И вздохнул:

— Хорошо!..

А в другой раз, посмотрев раздумчиво на меня, спросил:

— Помните «Утес» Лермонтова?

И тоже прочел стихи:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя...

Он дочитал стихотворение до конца и сказал, поясняя свою мысль:

— Какой поэтический образ нашел Лермонтов для передачи своего настроения!.. Чудесно!..

Я знал, что у Горького — своя работа, и какая работа! Несомненно, она давала ему огромное удовлетворение. Но в Горьком совершенно не чувствовалось эгоистического стремления оградить свой творческий мир от посторонних тревог и забот. Наст, он сам искал их, сам шел им навстречу. Как и всегда, он читал чужие рукописи, отвечал на письма молодых авторов, думал о них. Его глубоко серьезное желание помочь мне я ощущал непрерывно, каждый день.

— Не попробовать ли вам себя в балладах? — предлагал Алексей Максимович: — Вроде тех, что Алексей Толстой писал. Почитайте-ка его!

А то говорил:

— Лучше всего у вас выходят вещи, написанные в фольклорном стиле, и такие стихи, как «Кузнец». Вам нужно избрать одно из этих направлений и разрабатывать его.

Я показал Горькому новые свои строки и по его лицу старался угадать впечатление. Лицо было доброе, впечатление — хорошее. Подняв от тетрадки взгляд светлоголубых глаз, Алексей Максимович сказал:

— Стихотворение о солдате-калеке настроением и размером слишком напоминает Некрасова, а вот об осени вы написали по-своему и тут есть подлинное лирическое волнение...

О стихах, ритме, образе он говорил в эти дни неоднократно.

Показывая многокрасочные иллюстрации к былинам, Горький обратил внимание на подписи. Все они были написаны хореическим четырехстопным стихом.

— Такой размер годится для сказки о Коньке-Горбунке, — заметил Алексей Максимович: — Под него плясать хорошо, а к былинам он никак не подходит.

Он мельком взглянул на рисунок, изображающий озорные забавы Василия Буслаева, и произнес поучительно:

— Размером надо пользоваться с толком...

Раз после вечернего чая Горький подал мне небольшую книжку в голубой обложке, — изданный под его редакцией «Пролетарский сборник».

— Тут есть неплохие стихи, — говорил Алексей Максимович. — Вот хотя бы эти...

Он наклонился над столом и отыскал нужную страницу.

Грачи по снегу, как монахи,
Гуляют чинно и галдят,—

прочел он и, весь как-то светясь, спросил:

— Правда, похоже?

Снова сел напротив меня и вкратце рассказал биографии некоторых участников сборника. Один из них, рабочий, писал особенно талантливо, но почему-то лишь ямбом.

— Вероятно, не знает о существовании других стихотворных размеров. Нужно будет познакомить его с теорией поэзии, послать ему книг о стихосложении...

Светлые глаза Горького лучились улыбкой, низкий голос звучал тепло, слова дышали гордостью за рабочих поэтов, способных писать так хорошо.

В некрасовском «Современнике» мне встретилась поэма Шевченко «Гайдамаки». Узнав, что я прочел ее в неудачном русском переводе, Горький сказал:

— Шевченко нужно читать в подлиннике.

— А вы, Алексей Максимович, знаете украинский язык?

— Ну, еще бы! — чуть снисходительно воскликнул он. Сообщил, что знаком и с польским, что овладеть славянскими языками не трудно, и наставительно заговорил о том, что писатель должен быть образованным. Знать иностранные языки — необходимо, это — ключ к мировой литературе.

Вспоминаю вечер, вой ветра в трубе, облитые дождем темные окна, мягкий свет лампы, синие волны табачного дыма, песенку самовара, к которому мы, за отсутствием хозяйки, сами подходили со стаканами. Вспоминаю глухой кашель Горького, его устремленный на меня взгляд, внимательно присматривающийся и вместе с этим полный той серьезной думы, которую я заметил в нем раньше. И эта же дума о моей судьбе слышится мне в голосе Алексея Максимовича:

— Вам было бы полезно подольше пожить в Москве, войти в среду городского пролетариата, постараться понять взаимные отношения людей и силы, управляющие их жизнью. Сумятоха больших городов, пожалуй, неприятная вещь, но бывает полезно пожить в них, особенно поэту. Это обостряет...

Иногда Горький возвращался к воспоминаниям о заграннце, о сердечности и общительности тех людей труда, которых он изобразил в своих «Сказках об Италии». Если у кого-нибудь из них радость, то ее празднуют и соседи.

Слова Горького были о дружбе, о солнце, «творящем сказ
Казлось, что частица этого солнца осталась и в нем са-
согревая его густой голос, озаряя улыбкой лицо.

— Двое моих знакомых зашли в таверну, — негромко го-
рял Алексей Максимович, облокотившись о стол: — Заняли
ста. Рядом сидела компания рабочих. Один из них, старый,
рбоносый, в красной феске с кистью, услыхав непонятный го-
подходит к русским и спрашивает: «Сеньоры — иностран-
?» — «Да, русские». — «О, русские! Мы знаем и любим рус-
их. Мы просим сеньоров присоединиться к нам». Столики были
двинуты вместе. Перед русскими появился кувшин красного ви-
а, — то был подарок. Товарищи старика, смуглые подвижные
юди, скаля белые зубы, дружелюбно смеялись русским, выкри-
кивали приветственные слова. В этом маленьком эпизоде было
только милого, человеческого!..

А. М. Горький повертел в руках спичечную коробку и, по-
ложив ее на скатерть, с воодушевлением заговорил о музеях,
де собраны художественные шедевры мирового значения, о том,
колько сотворенной человеком красоты рассеяно на земле.

— Поэту, сударь мой, не мешает знать всякие виды искус-
ства!..

А. Н. Тихонов дал на просмотр А. М. Горькому свою по-
весть. Отзыв был благоприятный.

Разговаривая с Тихоновым о его рукописи, Алексей Макси-
мович спросил:

— А вы как работаете: регулярно?

И посоветовал:

— Писать надо каждый день в одни и те же часы. Попро-
буйте. Это быстро войдет в привычку. Когда придет время, вас
уже само-собой будет тянуть к столу. А пропустите свой рабо-
чий час — и почувствуете, что вам чего-то недостает.

Однажды, когда пришли Тихоновы, А. М. Горький вынес
из своей комнаты тетрадку, изрисованную его характерным по-
черком. В ней были новые рассказы.

Алексей Максимович сел к столу, опустил глаза на рукопись
и приступил к чтению:

«... В ту пору я чувствовал себя очень шатко и ненадежно.
Земля подо мною вставала горбом, как бы стряхивая меня куда-
то прочь...

«А все-таки хотелось жить, видеть чистое, красивое: оно су-
ществует, как говорили книги лучших писателей мира, — оно
существует, и я должен найти его...»

А. М. Горький читал просто, очень внятно и по-своему вы-
разительно. Рассказ о неудачной попытке молодого романтика

найти «человека, похожего на тех, о которых рассказывали хорошие книги», брал за сердце силой своих невольно запоминающихся образов и своеобразным, несколько грустным юмором.

Другая вещь называлась: «Как сложили песню».

Слушая Алексея Максимовича, я вспомнил недавний разговор с ним о фольклоре.

Я сказал тогда, что книга, письменность вытесняют устное творчество — былину, песню.

Горький возразил:

— А стихи, напечатаные в книге, разве не народное творчество?

Он утверждал, что творчество народа продолжается непрерывно и никогда не иссякнет.

Рассказ о том, как две прислуги в наше время сложили песню, был для меня как бы художественным подтверждением мысли, высказанной А. М. Горьким в разговоре.

Дочитав последнюю страницу, Алексей Максимович обвел слушателей взглядом и спросил:

— Ну, что?

Тихонов сказал:

— Тут у вас сидит на заборе ворона. Я бы вычеркнул ее, — слишком уж она горьковская и, пожалуй, не в первый раз косится бусиной глаза.

А. М. Горький промолчал, но с замечанием, видимо, не согласился. Ворона в рассказе осталась.

Жена Тихонова перевела прозой стихи из книги Ж. Тьерсо «Празднества и песни французской революции», подготовлявшейся к изданию на русском языке. Этим подстрочным переводам должен был придать стихотворную форму.

Наклонившись над тетрадкой с переводами, Горький прочел вслух: «Слава тому, кто выделывает селитру», — и заметил:

— Нелегко уложить в стихи такую фразу.

Под усами пробежала легкая усмешка:

— Маяковский, наверно, перевел бы: «слава селитродела телю».

Собиравший вокруг себя писателей, А. М. Горький знал не только имя, но и поэтический стиль молодого Маяковского. Поэт был у него на счету, — через несколько месяцев в «Летописи» начала печататься поэма «Война и мир». Но Горький помнил фамилии и таких авторов, как владимирский гимназист Соболев, книжечку которого — перевод «Слова о полку Игореве» — я показал Алексею Максимовичу в Финляндии.

Через три года в Москве он спросил:

— А где теперь Соболев?

Вопрос дает представление и о колоссальной памяти
ького, и о его исключительном интересе ко всему литературу. Это был страстный интерес работника, влюбленного в дело, волевой, активный интерес строителя новой литературы, писателя-революционера.

Когда А. М. Горький в вечер моего приезда убеждал рьяна писать и по-русски, на языке многомиллионного народа — это говорил собиратель писательских сил. Терьян ответ, что как бы ни хорошо владел он русским языком, — заду- вные мысли и чувства ему легче облекать в звуки родной чи. Алексей Максимович возражал. Литература — мощное едство художественного воздействия на массу народа, — чем ре круг этого воздействия, тем лучше.

Свое понимание агитационной силы художественного слова орький выразил и в статье о книге, — о книгах, которые со- няют писатели, — взяв эпиграфом к этой статье строки «Сти- о книге Голубиной»:

Мы про книгу славу поем,
По Руси та слава не минуется.

Он любил книгу идейно насыщенную, пробуждающую созна- ие читателя.

Книга может воодушевить на подвиг, и книга может отравить ом безволия, тоски, дыханием пошлости.

Горький страстно желал умножить число хороших, нужных и стремился уменьшить действие книг вредных, отравляю- их.

Запомнилось, как, наклонившись над свежим номером «Жур- ла журналов», он просматривал чью-то рецензию о недавно шедшем дневнике толстовца Ив. Наживина. Рецензия назы- алась: «Ушибленный Толстым».

— Метко сказано, — одобрительно усмехнулся Алексей аксимович. И бегло прочел несколько приведенных в журнале рок дневника. От них шел нехороший душок ханжеского ли- емерия.

В ту пору Горький и сам высказался в печати о произведе- ии «ушибленного Толстым» беллетриста:

«Мне кажется, — писал он, — читателю должно быть ясно, то в лице Наживина он имеет дело с одним из многочисленных усских приверед ников, которые, скуки ради, объявляют себя ведниками». («Издалека».)

В журнале «Огонек» Алексей Максимович очень внимательно прочел рассказ Ф. Сологуба о дачнице, на которую напали родяги. Рассказ ему не понравился.

Литература была главной темой его разговоров. Если Т
стой, по свидетельству Горького, неохотно беседовал о лите
туре, то сам он постоянно испытывал потребность говорит
деле, которое считал главным для себя.

Однажды Алексей Максимович упомянул о своей незак
ченной повести «Мужики». Начало повести было напечатан
журнале «Жизнь». Редакция ждала продолжения, но автор м
чал. Каково же было его удивление, когда продолжение
таки появилось! Его прислала какая-то писательница. Мис
фикация выяснилась только после того, как присланное бы
набрано.

Говоря о своих неосуществленных замыслах, Горький вспо
нил:

— Собрал всю литературу о Степане Разине, — хотел
сать роман...

Роман о Разине, к сожалению, остался ненаписанным.

Нередко Горький говорил что-нибудь вне связи с основн
темой беседы. Этими неожиданными для присутствующих
верждениями или отрицаниями он отвечал на свои думы. Ч
ствовалось, что в нем непрерывно происходит напряженная
бота мысли.

После какого-то литературного разговора, глядя в окно,
которым колыхались желтые ветки, Алексей Максимович п
изнес:

— Нет, разум выше сердца, мысль надежнее, чем чувств

В другой раз, так же внезапно, он заговорил о христе и П
метее, — о том, что для него Прометей как нравственный и
ал выше и нужнее христа.

Приехали Пришвин и Ладыжников.

И. П. Ладыжников, осуществлявший, как и Тихонов, изд
тельские планы Алексея Максимовича, был крупен, полон, бел
кур. Писатель и охотник Пришвин — невысок, изящно слож
казалось, что в его матовом лице с темными глазами и черн
курчавой бородой есть что-то от земли и лесной чащи.

Встреча была шумная и радостная.

Пред этим несколько дней шли дожди, но с приездом гост
погода неожиданно прояснилась, засияло солнце, заголубело л
ное озеро.

Подойдя к окну, Горький сказал с улыбкой:

— Нынче день, как новенький гривенник.

На столе появился самовар. Алексей Максимович достал
куда-то пузырек, в котором было немного спирта, добавил в
зырек воды и разлил редкий по военному времени напиток
крохотные рюмки.

Он был рад гостям. Шутил:

— Лет через двести, вероятно, не нужно будет читать книг. Ли найдут способ передавать свои мысли как-нибудь иначе,— ример, переливать их друг в друга в виде жидкости. Ро- ы и повести будут пить рюмками.

Говорили о литературе, о писателях.

— Много пишете рассказов? — ласково спросил Пришвина ексей Максимович.

— Нет, мало.

— Почему же?

Пришвин объяснил, что весь материал, который он накапли- т как художник, уходит у него на работу для газеты, на ленькие очерки. Он хорошо знал среду петроградских симво- тов и, отвечая на вопрос Горького: чем сейчас живет лите- урный мир? — рассказал любопытные вещи. По его словам, тные литераторы на втором году войны занимались рели- зно-философскими исканиями, увлекались спиритизмом. Вер- и в темной комнате столики, вызывали «дух» Наполеона и шивали:« Когда кончится война? Кто победит?»—Не помню, отвечал Наполеон.

Горький слушал очень внимательно. Я видел его лицо в профиль. Оно было серьезно и несколько грустно.

Затем Алексей Максимович с неожиданной страстностью за- орил о том, что он не верит в бога, не может признать его ия. Бог — абсурд, бессмыслица, это можно доказать логи- ким путем. Если во вселенной существует некто всемогущий и благой, то почему он не избавит человечество от страданий? Голос его звучал глухо, на глазах заблестели слезы, протя- ые вперед руки дрожали от волнения.

Потом он, окружая себя облаками папиросного дыма, вспо- нал Чехова, Каронина-Петропавловского, которого называл ним из честнейших русских людей, святым человеком». Вспом- л также случай с Меньшиковым, сотрудником реакционной орянской газеты «Новое время». В начале своей журналист- ой карьеры Меньшиков был либералом. Он «сжег все, чему клонялся», с необычайной легкостью — в одну ночь. Пово- м для этого была какая-то неудачная поездка к Чехову и ззетное самолюбие в соединении с зубной болью. Не помню робностей этой истории, но запомнилась ироническая усмеш- Горького, его голос, тоже насыщенный иронией, и впечатление кости, увлекательности рассказа.

Горькому нравилось перебирать в памяти образы прошлого, глядывать их, как он разглядывал гравюры или старинные мо- ты. Казалось, он рассказывает не только для слушателей, но

и для себя. Может быть, устная передача воспоминаний б
подготовкой к передаче их на бумаге. Как морская волна о
чивает и шлифует камушки, так Горький, говоря о писате
прошлого, гранил и шлифовал те бриллианты, которые по
засверкали в его книгах.

Монеты тоже были показаны гостям в тот вечер.

Сидели наверху, в комнате Горького.

Алексей Максимович придвинул к себе стоявший на ст
портрет Толстого и сказал, любовно усмехаясь:

— Толстой — это же азиат, китаец. Он весь от Востока.
рамка с драконами так идет к нему!

Взглянул на соседний портрет Чехова в простой, без укра
ний, оправе и договорил:

— Вот Антон Павлыч — совсем другой. Тот был европей
с головы до пят.

В эту минуту я подумал, что сам Горький весь наш, что
сын великого русского народа.

Чехова Алексей Максимович вспоминал особенно часто,
вспомнил и на следующий день. Это вышло так.

Во время завтрака, просматривая свежую почту, Алек
Максимович встретил в «Журнале для всех» маленький расс
А. Неверова «Страх». Написанная в чеховской манере, эта
щица так понравилась Горькому, что он прочел ее гостям вс

В рассказе говорилось о том, как любопытная псаломщи
подглядывая ночью в полузанавешенное окно церковно-прих
ской школы, увидала, что новый учитель жжет в печке какие
бумаги. Решив, что бумаги — «запрещенные», она рассказал
своем открытии мужу, а тот — священнику. Священник поше
школу и заметил на столе учителя портрет Льва Толстого. С
ло ясно, что новый учитель — «из красных». Тревожный с
дошел до благочинного. За учителем началась слежка. Стара
изобличить «красного» педагога, батюшка на уроке закона
жия спросил учеников старшего отделения, что они знают
Льве Толстом?

«... Ребята смотрели на батюшку удивленно. Влетит им
Толстого. Не иначе, это пророк был в роде Ильи с Елисеем
они забыли. Самый бойкий поднял руку. Вслед за ним подня
руки и еще несколько человек.

О. Григорий торжествовал.

— Ну, вот и вспомнили. Расскажи нам, Козин!

Ободренный Козин весело начал:

— Пророк Толстой был праведной жизни, писал божеств
ные книжки...

О. Григорий закричал:

— Кто? Кто? Пророк? Разве он пророк?
Хозяин поправился:
— Царь!
— Врешь, дурак, и не царь. Какой он царь? Граф! Где он
л? Ну-ка, ты, девочка, помнишь?
Заикаясь, тоненьким голоском девочка запела:
— А... г... раф Толстов жил в царстве иудейском...»
Дочитав рассказ, Горький сказал с улыбкой, радостной и в
же время немного грустной:
— Вот он, милый Антон Павлыч!
С приездом гостей, трудовой распорядок его дня не изменился,
сле завтрака Алексей Максимович попросил Ладыжникова,
торый собирался в лавочку за папиросами, опустить в почто-
й ящик письмо. До обеда он, как всегда, писал, а после обе-
хозяин и гости, пользуясь ясным днем, пошли гулять.
Горький и Ладыжников, оба высокие, крупные, неторопливо
агали по шоссе. В колеях с дождевой водой отражалось чистое
бо, от леса пахло сырым мхом и хвоей.
— Не поискать ли грибов? — предложил Алексей Макси-
вич.
Сошли с дороги и побрели кто куда.
Грибов не нашли. Возвращались домой в сумерках.
В одном месте Горький остановился и указал на большой
м угрюмо темневший в стороне от дороги. Алексей Максимо-
ч назвал имя Леонида Андреева. Дом был декоративно-мра-
и, как театральные «ужасы» андреевских книг.
А. М. Горький улыбался, но в улыбке чувствовалась боль.
В то время Андреев писал шовинистические статьи. Вероят-
о Горькому нелегко было наблюдать падение литератора, с ко-
рым он когда-то встречался и переписывался.
Вечером собрались вокруг лампы. Толковали о новом жур-
але с «пораженческой платформой». Намечали будущих сотруд-
ков, советовались, какие завести отделы, как назвать журнал.
бровольный секретарь этого негласного совещания, Тихоно-
а, записывала предложения. Названия для журнала не приду-
али, — оно родилось позднее. Первая книга «Летописи» вышла
через два месяца, но она уже виделась собравшимися за столом,
ркая, волнующая, пахнущая свежей типографской краской.
В этот вечер А. М. Горький был весел, полон энергии.
Вспоминая свою прежнюю журналистскую работу, он пред-
кушал радость нового дела, новых битв. Шутил бодро:
— Поставим вместо столов и стульев фанерные ящики, вме-
то скатертей настелем газет. Тут — рукописи, там чайник с
ипятком. Будем писать и целый день чай пить.

В Петрограде готовилось «собрание представителей печа
Горький должен был выступить на нем с речью. Эта речь
следствии вошла в сборник его публицистических статей. В
Алексей Максимович высказал мучительно тревожившие
мысли об искусственно разжигаемом темными силами антисе
тизме, о стремлении этих сил «внушить народу подозрителю
и враждебное отношение к социальным и политическим и
оппозиции». Связанный дружбой с В. И. Лениным и совмест
работой с партией большевиков, Горький, единственный из
ских писателей, поднял в эти кровавые дни знамя протеста
тив империалистической бойни, призывая всех «людей чест
слова», всех передовых литераторов к объединению.

— Надену черный сюртук, — усмехаясь говорил Але
Максимович заглянувшему вечером Тихонову, — выйду на
буну и начну читать по рукописи: «Милостивые государын
милостивые государи...»

Организуя «Летопись», готовясь к публичному выступле
против империалистической войны, Горький действовал вмест
большевиками, с Лениным. В то время Ленин звал рабочи
крестьян повернуть штыки против царя и буржуазии. Рабо
класс откликнулся на этот призыв массовыми стачками. В 1
году в России было около тысячи забастовок. Царское пра
тельство усмиряло рабочих свинцом и казацкими плетями.

В августе 1915 года заволновались измученные и разор
ные войной иваново-вознесенские ткачи. В эти дни област
комитет партии большевиков выпустил прокламацию, объясн
шую, какой неисчислимый вред приносит трудящимся затея
капиталистами бойня. Ивановский пристав Сабуров, отобр
одну из прокламаций, доставил ее полицмейстеру. Несколь
рабочих было арестовано. Аресты еще больше раздражили т
чей. Рабочая масса вышла с фабрик заявить, что война из
чила трудовой народ, и требовать освобождения арестован
товарищей. Начальник ивановского гарнизона, полковник См
нов, двинул против безоружных рабочих взвод солдат. От з
па в упор на камнях мостовой осталось лежать тридцать у
тых и больше пятидесяти раненых ткачей.

Вспоминается теплый августовский день, ограда ивановс
земской больницы. За оградой, в больничном дворе, лежало
сколько трупов, — это были умершие от ран. В воротах боль
цы стояли солдаты с винтовками, впускавшие народ для опо
ния мертвых.

По застывшим лицам расстрелянных ползали мухи. На сит
вых рубашках, на потертых жилетках и пиджаках запекла
кровь. Прохожие молча смотрели на убитых. Некоторые пла

В сердцах нарастала ненависть к
ам чудовищного злодеяния. Хотелось верить, что борьба ра-
его народа против царя и буржуазии будет продолжаться
ьше, и самодержавие будет свергнуто. Теперь, находясь в
тих у Алексея Максимовича, я воочию видел, что лучшие
ди страны, не взирая на репрессии самодержавия, как и
ьше, поддерживают революционное пламя, что борьба, дей-
ительно, продолжается.

Горький сказал мне:

— Я должен уехать отсюда на некоторое время. Вы пожи-
те здесь без меня, с книгами. Я скоро вернусь.

Перспектива остаться одному, без собеседника, испугала
ия.

В доме по-русски говорила только беленькая горничная, по-
авшая нам обед, а перед ней я робел в десять раз
льше, чем перед Горьким.

Главной причиной смущения была моя, все еще обвязанная,
ека, — из-под повязки, кудрявясь, неудержимо лезла раниая
рода. Лавочник-финн, у которого я покупал папиросы, знал
о-русски только числительные. Поэтому я решил тоже поехать
Алексеем Максимовичем.

В утро отъезда в мою комнату вошел русобородый человек
фартуке, стекольщик, — промазать на зиму окна. Привычно
ействуя стамеской, он вдруг обернулся ко мне.

— Трудится Алексей Максимович, — сказал он тепло и
важительно, кивнув на потолок: — Из нашего брата вышел...

Он чувствовал в А. М. Горьком своего, близкого человека.

В стекла брызгал дождь. В столовой я встретился с Горь-
им. Мы сели завтракать.

— Пишите для нового нашего журнала, — говорил Алек-
сей Максимович: — Французские переводы постарайтесь сде-
лать поскорее. Когда закончите, я пришлю вам финские и швед-
ские подстрочники. Подберу для вас книг.

Очень хорош был он в то утро. Надо сказать, что в пред-
шествующие дни, видя Горького занятым, я, из опасения поме-
шать, старался обращаться к нему поменьше, пореже. К тому
же мне было известно, что я не один у Алексея Максимовича.
«Прозу еще не успел прочитать, за месяц мне прислали 47 ру-
кописей», — писал он с Капри.

Но сейчас Горький как-то раскрылся, — заговорил о Фин-
ляндии, о жизни и быте финских рабочих, видимо желая дать
на прощание мне, молодому, как можно больше материала для
размышлений и сопоставлений.

Я спросил Алексея Максимовича, как написались у него та-

кие вещи, как стихотворение о рыбаке и фее, «Песня о Бу
вестнике»? Почему в этом же стиле писал и Скиталец?

— Время было такое, — объяснил А. М. Горький: —
вам нравятся стихи Скитальца? В них много моих строчек.

Отодвинув допитый стакан чаю, он поинтересовался:

— А как действует на вас Леонид Андреев?

И, узнав, что первые рассказы Андреева, свежие и не
средственные, понятней и ближе мне позднейших сочинений э
го писателя, одобрительно кивнул головой.

Затем Алексей Максимович встал и подошел к окну.
окном качались на ветру мокрые деревья; лесное озеро и го
зонт скрылись за плотной завесой осенней мглы. Горький
вернулся и, засунув руки в карманы, прошелся по комнате.
метив, что я кашляю, он спросил с тревогой в голосе:

— Что это у вас?..

Слегка сутулясь, Алексей Максимович сидел у окна.
пальцах правой руки он держал папиросу, от нее тонкой си
струйкой поднимался дым. Я глядел на струйку, на лицо Го
кого и слушал его слова:

— Теперь все научились писать хорошо. Техника пись
стоит очень высоко. Почти все талантливы. Но все это —
то. Нам нужен гений. Наша страна еще очень молода, она вес
ма недавно начала жить культурной жизнью. У нас должен по
виться гениальный писатель-демократ, великий народный поэт

Вошла горничная и сказала, что можно ехать.

Мы надели непромокаемые плащи, вышли на улицу и сели
тарантас. Кучер-финн тронул вожжами лошадь. Горький мол
смотрел из-под резинового капюшона на красную ленту шос
на мокрый лес. Дождь то затихал, то снова усиливался.

Случилось так, что когда подошел поезд, мы сели в разн
вагоны.

В густой толпе пассажиров, наполнивших большой вокзал
Петрограде, я не увидал Горького.

Было обидно, что не удалось проститься с ним.

Купив открытку, я написал в ней все, что должен был ск
зать Алексею Максимовичу, и, успокоенный, поехал домой.

◆

Французские стихи я перевел, но мне казалось, что перев
ды — неудачны. Посылая их Горькому, я выразил опасение, чт
вряд ли они пригодны для книги. Он отвечал:

«Стихи переведены вами, Д. Н., вовсе неплохо, вы — мо
лодец.

«Скоро вышлю вам финских и латышских стихов.
«Книги тоже высылаю.
«Не написали ли чего? Пришлите...
«Страшно занят!
«Адрес помните? Лиговская, 44, кв. 110.
«Будьте здоровы, милый!
«Денег не надо ли?»

Через несколько дней я получил подстрочные переводы финских стихов. Кроме них в конверте было письмо Горького:

«Милый Дмитрий Николаевич!
«Посылаю вам для перевода 5 финских стихотворений, будьте добры отнестись к этой работе со всем вниманием, очень прошу вас об этом!
«Ваши переводы французских стихов всем нравятся.
«Так хотелось бы, чтобы вы нашли удовольствие в переводах. Скоро пришлю еще латышские стихи...
«Будьте здоровы!
«Если нужно денег — напишите».

Переводы финских стихов предназначались для «Сборника финляндской литературы», который входил в серию затеянных Горьким сборников художественной литературы живущих в России народов.

С финскими переводами я задержался. Моя медлительность вызвала со стороны Горького напоминание:

«Дмитрий Николаевич, сообщите, в каком положении стихи, посланные вам для перевода, и — если они готовы, — высылайте их.
«Адрес: Петербургская сторона, Большая монетная, 18, ред. журнала «Летопись».
«Присылайте своих стихов.
«Как живете?..»

Письмо Алексея Максимовича запоздало, пробыв в пути, по прихоти почты, ровно месяц. Помнится, к моменту получения письма переводы были уже сделаны и отправлены.

Оказалось, что Горький давно послал мне обещанные книги, но они почему-то вернулись назад. Это явствовало из следующих строк:

«Дмитрий Николаевич!
«Сегодня почта возвратила пакет книг, посланных вам и не полученных вами, хотя, по сведениям почтовой конторы, повестки вы получили. Удивляюсь.
«Что делать с книгами? Напишите. Давайте стихов, лентяй.
«Будьте здоровы!..»

По моей просьбе, Горький послал книги вторично. На этот

журнала.

«Как папи стихи?

[illegible]

*

[illegible]
[illegible]
В том доме убей того,
Кто [illegible]

Горький отвечал:

«Рассказик [illegible] у вас [illegible] недурно. Будет [illegible]. Попробуйте написать еще.

Спасибо за частушки, это интересно.

Вот что. Не напишете ли Вы три стихотворения для детей? Книгоиздательство «Парус», в котором я участвую, издает [illegible] для детей — [illegible] сборник рассказов и стихотворений. Попробуйте!

А также давайте стихов для литературного сборника «Паруса», который мы составляем.

Работайте больше, читайте, учитесь. Толк будет!

Жму руку...»

Это письмо было прислано уже по новому адресу, — с осени [illegible] государственного банка.

[illegible], который присылал частушки, [illegible].

[illegible] рекомендую.

В эти бурные дни, в семнадцатом году, я получил следующее [illegible] Горького:

«Дмитрий Николаевич!

Если у вас есть стихи, — пришлите для сборника...

Приветствую! [illegible]...»

Письмо было адресовано [illegible] городской [illegible], в которую я превратился, уйдя из банка. А вскоре я [illegible] в редакцию газеты «Рабочий край», о чем и сообщил Горькому, при [illegible] стихов. Он [illegible]

«Очень рад [illegible] о Вас. Д. Н.! [illegible]!

[illegible]. Стихи ваши частью пойдут в журнале «Вестник Свободы и Культуры», а часть — [illegible].

Третья строфа «[illegible]» — слабо, [illegible] и [illegible]

[illegible]

— Спасибо [illegible] в Москву [illegible]!

«Будьте здоровы, дорогой!
Примите книжку...»
Книжка, которую просил прислать Алексей Максимович, была, вероятно, одним из сборников, свидетельствующих о зарождении в Иванове своей литературной жизни.
Конец восемнадцатого года принес новые строки Горького:
«Дмитрий Николаевич!
Очень рад, что получил Ваше письмо, давно собирался написать Вам.
Издание текущей художественной литературы я налаживаю, будем издавать ее сборниками. Это, вероятно, скоро осуществится.
К вам у меня есть просьба...»
Дальше Алексей Максимович предлагал мне работу в серии издаваемых им сборников. Работа заключалась в переложении старинных поэтических текстов на современный язык.
«... Надо взять из прошлого все лучшее, все прекрасное, что там есть, и пустить это в широкий оборот, так?
Отвечайте скорее, берете ли на себя эту работу? Я уверен, что Вы должны сделать ее и охотно, и хорошо.
Как живете? Читал Ваши стихи в Воронежской «Сирене».
«Будьте здоровы...»
Между строк Горький сообщал мне о подробностях, которые [illegible]:
«Милый Дмитрий Николаевич!
«С переводом... [illegible] не очень торопитесь, но [illegible] считайте это дело — делом важным и [illegible]! [illegible]..
«Вот так-то, дорогой мой!
«Переводы — вместе с подлинными текстами — присылайте [illegible], один из адресов: Кронверкский, 23, кв. [illegible] Невский, 64, «Всемирная Литература», [illegible] это [illegible] [illegible].
«А как живете Вы, милый? Могу помочь вам в Москве...» [illegible] — [illegible] 17-е [illegible] 191[illegible] года — Д. С.), — [illegible]...

Приехав [illegible], я [illegible] в Москве, [illegible] с А. М. Горьким о [illegible].
С [illegible] в [illegible] [illegible]. Через [illegible] в Москве.
[illegible]. [illegible] [illegible]. Я [illegible] Цветной [illegible]

полюбите ее. Я верю, что это выйдет у вас. Вы сделаете хоро-
шее, нужное дело...

Ясно и холодно голубел морозный день. На стол подал кофейник и два стакана. Оказалось, что кофе придется пить без сахара, обедать — без хлеба. Это было в дни очередей за пай-ками, продовольственных карточек, мешечников.

Тут пригодился мой коровай. А в грудном кармане пиджака я нашел кусочек сахара, уцелевший от чаепитий в редакции «Рабочего края», и предложил его Алексею Максимовичу. Он взял кусок и щипцами расколол его пополам.

— Вы где остановились? — спросил меня Горький, разливая кофе по стаканам.

— Нигде.

— Как?

Я поведал о ночном приключении. Алексей Максимович удивленно взволновался.

— Пока будете в Москве, живите у нас, — решил Горький. И начал расспрашивать об Иванове, о работе в газете о стихах.

Говоря о своем житье, рассказывая об ивановских писателях, я пожаловался, что дома мне нехватает музыки.

— Сегодня услышите хорошую музыку, — обещал Горький, — придет один молодой композитор, очень талантливый.

В комнату вошел Максим. Он подрос, возмужал.

Горький горячо любил сына.

Вечером — не помню, по какому поводу — Алексей Максимович рассказал, что когда Максиму делали какую-то серьезную операцию, то он, отец, находившийся в это время в операционной комнате или где-то рядом, не выдержал, потерял сознание.

Сейчас Горький дружески разговаривал с сыном о его делах, — из разговора выяснилось, что Максим стал членом партии большевиков. Горький ласково усмехался. Потом он принялся рассказывать о своем впечатлении от новой постановки пьесы «На дне», сделал несколько замечаний о недостатках игры. Заговорил о предполагаемом издании литературной газеты, о писателях и книгах.

О модном у буржуазного читателя Рабиндранате Тагоре он сказал, пожав плечами:

— Не понимаю, чего с ним носятся! Это же — Шелли, переведенный с английского на индусский и затем обратно, — с индусского на английский.

А современному русскому стихотворцу из «музыкантствующих» дал такую характеристику:

— Кустарь. Чтобы писать такие стихи, едва ли требуется
хновение, — была бы усидчивость.
Положив руку на спинку стула, Горький стоял у стола и
ыбался чуть презрительно:
— Да я вам сколько угодно таких стихов наплету...
Беседу прервал приход писателя Георгия Чулкова. Немного
здиее явился престарелый детский писатель, очутившийся без
боты. Пока мы с Чулковым сидели в столовой, Алексей
ксимович в соседней комнате говорил с детским писателем.
арик уходил, радостно взволнованный.
Этих писателей сменили новые.
Пришел давний приятель Горького, рабочий, коммунист. Он
невысок, коренаст. На его русском лице блестели неболь-
быстрые глаза. Невидевшиеся несколько лет хозяин и гость
асцеловались.
Гость сказал:
— Ну, Алексей Максимович, я у вас хлеб отбиваю, — заде-
лся редактором нашей губернской газеты...
Горький усадил редактора в кресло и сам сел напротив. На-
лись расспросы, воспоминания о знакомых, — о людях, кото-
прошли через тюрьму, через ссылку и теперь строили новую
изнь.
Среди разговора Горький взял со стола большой конверт,
еенный иностранными марками. Вынул из него сложенный
тверо, хрустящий лист.
— Вот, получил письмо от мексиканского министра. Предла-
т свои услуги, просится к нам на работу. Так-то!..
Лицо Алексея Максимовича светилось гордостью за совет-
ую страну.
Потом сидели в той маленькой комнате, где час назад Горь-
ий принимал детского писателя.
Алексей Максимович просматривал газету своего друга.
Статьи, написанные самим редактором, были отчеркнуты крас-
ым карандашом.
— Пишем еще плоховато, — говорил редактор: — Ну, на-
имся!..
Раздался новый звонок. Женский голос спрашивал, можно
видеть Алексея Максимовича? Покинув нас, Горький вышел
большую комнату. В неплотно задернутую портьеру нам были
дны широкие поля шляпы, четкий очерк тонкого, бледного
ца.
По уходе гостьи-писательницы. Алексей Максимович сказал
восхищением:
— Замечательная женщина! Перенесла сложнейшую опера-

цию, буквально вся изрезана, а как работает, как велик зап
ее духовных сил!..

Жизнь причинила Горькому много зла, но ее удары не ис
зили его мощной и доброй души. Как никто другой, он умел в
деть в людях черты человека, самое имя которого звучало д
него гордо. Та неистребимая вера в человеческий разум и вол
которая наполняла книги Горького, теперь слышалась в его г
лосе, выражалась в улыбке и взгляде.

— Да, удивительные люди, удивительное время, — задумчи
сказал он, покачав головой.

К обеду должен был приехать В. И. Ленин, но время ш
а его все не было.

Сын А. М. Горького Максим позвонил в Кремль. Ответил
что Владимир Ильич уже выехал.

Разговор не вязался.

Прошло с полчаса.

Все сели за стол.

После выяснилось, что В. И. Ленин, подъехав к дому, воше
в подъезд, но подняться на четвертый этаж не мог: помеша
еще незажившая рана. Узнав, что лифт испорчен, он сел
автомобиль и уехал.

Композитор, о котором так одобрительно отзывался Горьки
оказался совсем молодым человеком с миндалевидными, влажн
блестевшими глазами. Он принес с собой несколько чьих-т
ученических пастелей. Горький радостно любовался их мягки
ми тонами; он находил, что начинающий художник несомнен
но талантлив.

А январский день смеркся. Включили свет. Музыкан
сел за пианино. Он играл и классиков, и новых композиторов
Горький говорил:

— Вы добились больших успехов. Раньше у вас не был
такой четкости, такой чистоты звука.

Было видно, что Алексей Максимович понимает и чувствуе
музыку так же глубоко, как и литературу, живопись, театр.

— Классиков, классиков давайте, — требовал он, обра
щаясь к пианисту.

В этой же самой комнате слушал любимые сонаты Бетхове
на и В. И. Ленин, — музыка вызывала в нем восторженно
удивление пред человеческим гением.

В тот вечер тоже звучал Бетховен.

Горький сидел, опираясь на ручки кресел и немного подав
шись вперед, в ту сторону, откуда шли звуки. По его лицу ка
тились слезинки. Когда последний аккорд замер, он произне
взволнованно:

— Ах, какая это дивная вещь!..

Еще в Финляндии я увидал, как неотразимо действует на рького все прекрасное: старинная гравюра, стихотворение лкина, барельеф редкой монеты. А раз он упомянул о треченной им где-то в Италии статуе, — гармония линий, их ародная чистота до слез тронули его.

Даря музеям картины, коллекции монет, восточные вазы, рький стремился сделать искусство доступным народу. Он хо- л, чтобы заключенная в искусстве творческая энергия чело- ка вызвала в массах еще более мощную волну творчества.

Наполнив комнаты веселым оживлением, пришли новые сти. Разговор за чайным столом начался с театральных ново- ей. Потом как-то само-собой вниманием всех завладел Горь- ий.

Устремив вдаль задумчивый взгляд посветлевших глаз с ымя папиросой, он рассказывал о прошлом, о встречах с заме ательными людьми.

Целый день Алексей Максимович не курил и только к ве- ер для него достали папирос. Они лежали в соседней комнате комоде. Время от времени Горький, прервав рассказ, вставал ел за папиросой.

Увлеченные его воспоминаниями, гости засиделись до позд- ей ночи.

На другой день я поблагодарил Алексея Максимовича за сеприимство, простился с ним.

Уже в передней, провожая меня, он сказал несколько слов о ерашнем концерте, затем — о стихах Уитмэна, — в них Алексея Максимовича не удовлетворяла форма.

Я оделся, взял книги и хотел итти, но Горький остановил ня:

— Подождите, ведь, у вас курить нечего...

Сходил в комнату и вернулся с пачкой папирос. Подарок ел не от избытка, и не следовало брать его, но Алексей Макси- ович предлагал так настойчиво, в глазах его я видел такую ольшую доброту, что отказаться было нельзя.

До революции Иваново-Вознесенск, несмотря на свое про- ышленное значение, считался, как административная единица, безуездным городом; поражал неблагоустроенностью и культур- ой отсталостью. Связанные с Ивановом писатели-одиночки не ибили его и рвались насторону. Ивановский уроженец, писа- ель-народник Ф. Д. Нефедов называл родной город «боло- ом».

«Не знаю, что ждет меня в этом болоте, — писал он в с
ем дневнике 1863 года, собираясь в Иваново после неудач
попытки поступить в университет, — война с невежеством
грубой силой зоологического царства и многое в этом ро
Нерадостная картина будущего!..»

Грозовые годы гражданской войны пробудили в Иван
небывалую волну культурного подъема. В дни, когда, казал
было не до литературы, когда истощенные ткачи с красн
знаменами шли навстречу боям, когда от захваченного мят
никами Ярославля доносился гул артиллерийской канонады
в эти дни в Иванове выросла целая группа своих, советск
писателей. Обращаясь к текстильному городу, поэт Иван
жин сказал:

Жезлом железной диктатуры
Ты облик зверя быстро стряс,
И на горах мануфактуры
Ты сотворил себе Парнас.

На ивановском Парнасе встретились деревенские парни,
харкины дети, бывшие солдаты, старые и молодые рабочие.
бираясь в нетопленой комнате, поэты грелись кипятком с
харином, читали стихи. В стихах было немало сора, но попа
лись и крупинки золота.

Рукописи кружка шли в газету «Рабочий край», издавал
чебольшими сборниками и альманахами. Литературная раб
ивановцев вызвала ряд откликов. Об ивановских поэтах пис
Луначарский, Ольминский и др. Но первым, кто глубоко з
тересовался ивановскими литераторами, был Горький.

Непоколебимо веря в духовные силы народа, он страс
ждал: вот распустятся первые цветы творческой весны! Отс
— внимание Алексея Максимовича к ивановским поэтам, о
торых я рассказывал ему в Москве и после — в письмах.

Через два месяца после своей поездки я получил от Г
кого такую записку:

«С нетерпением жду переводов, уверен, что вы, Д.
сделаете их хорошо.

«Пришлите мне стихов Сер. Семина.

«Крепко жму руку, спасибо за поздравление, писать
когда...»

Бывший пастух Сергей Семин удивлял всех знавших
своей одаренностью. В империалистическую войну, сидя в о
пах, он научился грамоте, прочитал Пушкина и начал сочи
сам. Его стихи, написанные каракулями малограмотного, б
певучи, просты и свежи. Семину хотелось учиться, но его с

надорваны. В двадцать с чем-то лет он казался стариком через два года умер от сыпного тифа.

По письму А. М. Горького от 16 января 1919 года видно, о стихи Семина и другого ивановского поэта Жижина он на- талантливыми:

«Милый Дмитрий Николаевич!

«Начинаю здесь журнал «Завтра»...

«Очень прошу вас — пришлите стихов своих, Жижина, и Се- ина. Стихи Жижина свидетельствуют о его таланте, Семин —

«Пришлите №№ «Рабоч. Края», в которых напечатаны ча- ушки.

«Действуйте скорей...»

Иван Жижин был сыном прислуги-вдовы. Как и Семин, он получил никакого образования и своим развитием был обя- исключительно личным усилиям. Стихи Жижина отличались елостью образов и чеканкой поэтической фразы.

Главным организатором ивановских литературных начинаний старый правдист Мих. Артамонов. Его стихи были изве- Алексею Максимовичу и раньше. Артамонов участвовал в из «Сборников пролетарской литературы». Он усердно ал «Рабочий край» своими песенками деревенского гармо- ста.

Положительную оценку ивановских поэтов А. М. Горький ил на долгое время.

Ш. Маначурьянц в статье «Что и как читал Ленин (заметки отекаря)» вспоминает:

«Иногда Ленин просил достать ему какую-нибудь книгу, га- или журнал, на которые ему указывал кто-либо из товари-

После приема А. М. Горького мне передали такую записку:

„Прошу достать (комплект) „Рабочий Край" в Иваново-енске.

(Кружок настоящих пролетарских поэтов).

Хвалит Горький { *Жижин*, *Артамонов*, *Семеновский*

—1921 г.

(Газ. „Правда" № 17, 1927 г.)

По словам Маначурьянц, желание В. И. Ленина было полнено: комплект «Рабочего края» ему доставили. Влади Ильич просил хранить его в том шкафу, куда складывались к ные новинки. Но очередная работа не позволила Ленину озн миться с ивановскими стихами. Спустя некоторое время он зал, что ему некогда будет просмотреть комплект, и проси править его в Социалистическую академию.

В 1922 году Горький — за границей, он — болен, но по нему помнит ивановских поэтов. В эти дни в Иваново пр письмо секретаря русского «Книгоиздательства в Берлине»: лаясь на указание А. М. Горького, он предлагал ивановцам сылать в издательство свои стихи. Предложением поэты воспользовались, так как можно было печататься и дома Алексею Максимовичу за память остались благодарны.

Прошло несколько лет. Некоторые ивановские писатели ли известны за пределами области. Ефим Вихрев написал ресную книгу о Палехе, Николай Колоколов — роман «М кровь». Алексей Максимович прислал обоим авторам хор письма.

В Иванове подрастали новые литераторы. Они также лали А. М. Горькому свои работы. Иногда это были по ские стихи, скорее говорившие о юном возрасте автора, чем достижениях. Но Алексей Максимович умел отнестись сер и внимательно к каждому.

«Говоря откровенно, — писал он в 1928 году Мих. М ву, — стишки ваши «так себе», т. е. не хороши. Такие «обр жак «стая оврагов», «окунутые в поте» и проч. — это Еще хуже то, что Есенина вы ставите выше Пушкина и монтова, — это уже совсем скандал! Но мало ли какую ч может сказать человек 18 лет отроду! Я тоже, вероятно, же оглобли гнул в вашем возрасте, как вы гнете. В эти печататься не следует, а надобно учиться во всю силу, во сударь мой! А таких стихов, как ваши, теперь печатают Однако, «В глуши» не так уж плохо, если выкинуть оврагов».

«Поэтому очень рекомендую вам: учитесь, детушка!»

Прямое, сурово откровенное письмо Алексея Максим принесло Маркову пользу: юный автор начал учиться, по в вуз. К слову он стал относиться строже, — особенно второго горьковского письма:

«В стихах, присланных вами, хороши только две с подчеркнутые мною. Все остальное не оригинально и пл вас нехватает слов и вы для «соблюдения размера» удва одно и то же слово. Это — странно, потому что слух у в

ется, неплохой, да и вкус к слову, к образу как будто есть.

Но вы пишете:

У тоски ни барьеров, ни граней,
Как ольховых ветвей у осин,—

неужели последняя строка, дважды повторенная вами, нравится вам?..»

— Горький поддержал и молодого ивановского беллетриста Мих. Шошина.

Прочитав рассказы Шошина, Алексей Максимович написал ему:

«Записки плохого поэта» и «По заволжским просторам» вполне определенно говорят о вашей даровитости. Говорят о том, что вам доступно чувство дружбы к людям, чувство доверия к жизни, — это чувство не часто встречается выраженным так просто, искренно. Вы хорошо видите жизнь и знаете, о чем надобно писать. Изобразительные средства у вас — не плохи, но могут и должны быть лучше, богаче. В приемах работы чувствуется влияние М. М. Пришвина. Это — весьма крупный художник и у него есть чему поучиться, но не забывайте, что одно дело — учиться, другое — подражать. Я думаю, что вы человек достаточно своеобразный, вижу, что у вас есть свой — и небольшой — опыт, он требует вашей, а не чужой окраски и потому повторяю: учитесь, но не подчиняйтесь. Вам следует заняться языком. Не хочу сказать, что он плох, но еще беден, требуется, чтобы вы обогатили его...

Избегайте таких слогов, как: «шущих», «щая», «щей», «щей», а также вообще свистящих и шипящих везде, где они не звукоподражательны: «трепещущая тишина» не изображает тишины, потому что слога «щу», «ща» слишком определенно звучат»...

Не ограничиваясь перепиской, Горький разослал рассказы молодого автора в разные издания, привлек его к сотрудничеству в журнале «Наши достижения». Как всегда, Алексей Максимович радовался появлению нового талантливого писателя и старался облегчить ему продвижение в большую литературу.

Летом девятнадцатого года Горький обрадовал меня вестью о том, что мои стихи будут изданы книгой:

«Дмитрий Николаевич!

Я показал Ваши стихи А. А. Блоку, рецензию которого

прилагаю в поучение Вам. Блоку — верьте, это настоящий — волею божией — поэт и человек бесстрашной искренности.

«Часть стихов, выбранная им, будет издана новым книгоиздательством «Жизнь мира», часть, признанную лишней, возвращаю... исправьте посвящение жене, «Богатыря».

«Дайте коротенький очерк вашей жизни и воспитания.

«Деньги получите, как только будет составлена книжка. Торопитесь возвратить исправленное...»

Своей высокой оценкой Блока, как поэта и человека, А. М. Горький как бы вносил поправку в другой, более ранний отзыв о нем, — в отзыв, основанный на отрицательном отношении Алексея Максимовича к символистам, которых он осуждал за оторванность от жизни и голый эстетизм.

... «Блок? — писал он мне в 1915 году: — Я отношусь к нему внимательно, но — недоверчиво. Мне кажется, что он слишком литератор, вдохновение его холодно, почерпает он его из книг, как я чувствую. Те стихи, которые вы привели в письме ко мне, я знаю и тоже считаю их книжными. Все, что сказано в них про Русь, не однажды говорилось Хомяковым, Аксаковым, это можно встретить у Языкова, даже у Огарева. Старо, книжно. Своих слов — мало, своего отношения — не вижу, не чувствую. Иногда Блок говорит смешные вещи, например: «О, родина! Жена моя!» Это вызывает у меня комическое впечатление...»

Как известно, Блок сумел подняться неизмеримо выше той среды, которая воспитала его. Искренний и честный порыв поэта, звавшего «всем сердцем, всем сознанием слушать революцию», — по-новому осветил его образ.

Работая вместе с Блоком в издательстве «Всемирная литература», Горький увидел его в новом свете.

Приехав в двадцать первом году в Москву, я снова встретился с Алексеем Максимовичем.

Стояла теплая погожая осень. Москва была тиха, просторна и золотиста. Трамваи не ходили, рельсы заросли редкой травой. Я остановился у знакомого поэта. О встрече с Горьким заранее условился по телефону.

Узнав, что я увижу Горького, мой знакомый попросил передать Алексею Максимовичу свою недавно вышедшую книгу. Он был человек даровитый, но иногда его поэмы страдали напыщенностью и холодностью.

В назначенное время, во второй половине дня, я был у Горького.

Поздоровавшись с ним, передал ему книгу своего знакомого. Алексей Максимович раскрыл ее, пробежал глазами несколько строчек и сказал вопросительно:

— Кажется, трескучие стихи?

Заглянул в предисловие, — оно было написано известным литератором в выражениях как будто хвалебных, но в то же время достаточно осторожных.

Черты Горького озарила усмешка:

— Хитрый!..

Определение относилось к автору предисловия.

Алексей Максимович положил книгу на письменный стол. Разговор происходил в той комнате, где три года назад мы слушали музыку.

Мне хотелось посоветоваться относительно некоторых недоуменных вопросов. Я взволнованно передал Горькому свои мысли. Он смотрел мягко, вдумчиво. Его слова дышали всепониманием. Что-то благостное, как ласка осеннего солнца, чувствовалось сейчас в Горьком.

Между прочим, я спросил о судьбе своих переложений.

Алексей Максимович ответил, что надеется напечатать их. И, немного помолчав, неожиданно прибавил:

— Вы не совсем правильно поняли меня. Нужно было дать образ женщины, матери всего прекрасного, что есть на земле...

В ответе было столько горьковского!

Прославив чудесными словами матерей, «сеющих в человеке все, чем он славен», Горький хотел, чтобы и другие слагали —

Песнь о сердце мира, о волшебном сердце
Той, кого мы, люди, матерью зовем.

Неожиданно он закашлялся.

Приступ кашля был сильный, лицо Алексея Максимовича покраснело от напряжения, на глазах навернулись слезы. Он прижал худые руки к груди и, большой, костлявый, горбясь, сидел на стуле, а сам все кашлял — глухо, как в бочку.

В эту минуту я с острой болью вдруг увидел, что Горький — физически не тот, каким был прежде. Затяжной надсадный кашель, впалые щеки, острые скулы, глубокие морщины говорили о том, что Алексей Максимович очень нездоров. Как-то виновато улыбнувшись, он встал и вышел в соседнюю комнату.

Скоро Горький вернулся и продолжал разговор.

Мой сборник в издательстве «Жизнь мира» почему-то не вышел. Но Алексей Максимович не оставлял мысли помочь мне в издании книжки. Он хотел, чтобы я прислал ему все написанное.

— Я уж сам отберу, что нужно, только смотрите, все стихи присылайте, — сказал он, сделав ударение на слове «все».

И напомнил, чтобы я обратился к И. П. Ладыжникову за гонораром.

— Мы, наверно, должны вам.

Больной, нуждавшийся в лечении и отдыхе, Горький продолжал думать, заботиться о других.

Я спросил, кто из молодых писателей кажется ему наиболее талантливым?

Алексей Максимович оживился и начал перечислять фамилии. Он горячо верил в будущее нарождающейся новой литературы.

Вспомнил ленинградских «Серапионовых братьев», ярко одаренного, рано умершего Льва Лунца.

— Через несколько лет у нас появится ряд прекрасных писателей, — памятно сказал Алексей Максимович: — Это для меня несомненно. У нас будет большая, новая, советская литература.

Непоколебимой уверенностью звучали его слова.

◆

В 1922 году, посылая Горькому изданную в Иванове книжку своих стихов, я пожаловался на мучительное чувство недовольства собой, качеством своей работы. Ответ Алексея Максимовича своим сердечным и бодрящим тоном напомнил мне первую встречу:

«Книжку Вашу я получил, почти все стихи ее я знаю. а Вы знаете мой отзыв о них... Вы помните, конечно, что мое к Вам отношение, как к талантливому человеку, было подтверждено А. А. Блоком.

«Послушайте: известная доля неудовлетворенности собою, своей работой — всегда и обязательно должна быть присуща каждому искреннему писателю; эта неудовлетворенность, являясь источником его мук, является в то же время залогом непрерывности его роста. Так. Но — у Вас неудовлетворенность собою принимает болезненный характер и я боюсь, что это обессилит Вас. Поэтому Вы, сударь, должны бороться и умерить это чувство недовольства собою. Вы — поэт и больше ничего! Вы прежде всего — поэт. С этим Вы ложитесь спать, с этим встречаете восход солнца, суету дня, людей, собак, комаров, огорчения, радости, — все, чем наполнен день Ваш и ночь.

«Вы кем-то призваны окрасить мучительно-трудную жизнь людей в яркие краски звучных слов, — вот Ваше дело! Вы об-

ладаете способностью видеть жизнь более значительной и красивой, чем она есть, — вот Ваше отличие от множества миллионов людей, для которых Ваша оценка жизни может дать много и пользы и радости.

«Довольно скрипеть и ныть, Семеновский! Вам надо писать, надо немножко — чуть-чуть! — любить себя за то, что Вы делаете. Делаете же Вы хорошее дело — хорошо.

«Будьте здоровы и работайте, а я попытаюсь переиздать Вашу книжку здесь и прислать Вам денег.

«Сердечный привет. А. Пешков».

В короткой приписке Горький повторил:

«Будьте здоровы, милый, и работайте. Присылайте стихи сюда. А. П.»

Безуездное Иваново после революции стало центром большой области.

В состав Ивановской области входит и приволжский городок Плес. Недалеко от Плеса, в красивом доме, глядящем окнами фасада на Волгу, отдыхают ивановские ткачи. Раньше дом принадлежал Федору Шаляпину. Однажды здесь побывал и Горький. В то время хозяевами города Иванова были жадные, невежественные фабриканты.

Иваново 1928 года резко отличалось от старого, дореволюционного. В городе шло кипучее строительство: появились фабрики-дворцы, новые рабочие поселки, театры, клубы, школы. Повысился культурный уровень текстильщиков. Кружок поэтов был только одним из признаков тех глубоких социально-культурных процессов, какие происходили в среде трудящихся.

Вернувшийся в этом году на родину, Горький, готовясь к летней поездке по Советскому Союзу, собирался побывать и в Иванове.

Но в Иваново он не попал.

Тем не менее, Алексей Максимович продолжал поддерживать связь с ивановцами. Он следил за ивановскими газетами, очень интересовался замечательной ивановской новостройкой — Меланжевым комбинатом.

Осенью, перед отъездом в Сорренто, Алексей Максимович, говорят, спрашивал и обо мне: что я делаю, как расходится моя книга?

Эти вопросы Горького, видимо, были не только проявлениями личного участия.

Алексей Максимович относился к писательству — свое-

му и чужому, — как к общему, всенародному делу, как к работе для всех. Оттого творческую неудачу другого он воспринимал гораздо острее и больнее, чем сам автор, удача же рождала в его сердце теплые, ласковые слова радости, поздравления с успехом. Оттого он пристально следил, кто из писателей чем занят, горячо хотел помочь каждому, раздавал темы.

Вскоре после разговора об ивановских делах Горький дал литературный заказ и мне. Это случилось таким образом.

Я послал Горькому рукопись стихов и письмо. Рукопись взялся передать собиравшийся в Москву товарищ, а письмо было отправлено почтой. Я писал Алексею Максимовичу, что недоволен своей книжкой, вышедшей год назад в издательстве «Круг», и просил содействия в издании нового сборника. Ответ пришел уже из Сорренто:

«Стихов Ваших — да еще «вороха» — мне никто не передавал. Жду, чтоб Вы прислали их сюда. Попрошу ГИЗ взять из «Круга» Вашу книжку и пустить ее в оборот. К новой книжке могу написать маленькое предисловие...

«Жаль, что Вы пишете мало. А не испортят Вам язык «сатиритические куплеты»? Вы бы познакомили меня с ними...»

«Сатирическими куплетами» я назвал свои газетные фельетоны в стихах. Отправляя Горькому эти наспех сделанные вещи, я — для того чтобы он не очень плохо думал о моей газетной работе — сообщил, что пишу также прозу — маленькие очерки. Алексей Максимович захотел прочесть и прозу.

«Дорогой Д. Н., — писал он, — посылаю Вам рукопись, посмотрите ее, перенумеруйте страницы и пошлите по адресу: «Москва. Госиздат...

«В общем книжка — хорошая. О фельетонах я должен был упомянуть в предисловии.

«О каких «маленьких очерках о людях» пишете Вы? Нельзя ли познакомиться с ними? Мне хочется издать несколько книг о «Великих маленьких людях», одну из таких пишут в Ростове н/Д., Ваша, м. б., годилась бы на место второй, если только в ней Вы имеете героями маленьких людей, сердечно делающих будничное дело...»

Мои наброски не подходили к разряду тех очерков, которые имел в виду Горький. Но ему казалось, что я сумею быть полезным для осуществления его идеи.

«Дорогой мой, — отвечал он, просмотрев мои газетные вырезки, — очерки Вашего типа для издания, о котором я мечтаю, не годятся, Вы правы.

«Вы, наверно, поймете меня, если я скажу Вам, что следовало бы создать ряд книг «житийного» характера, нечто вроде

«Четьи Минеи», ряд биографий героев труда, бескорыстно всю жизнь творивших маленькое свое дело для великого будущего. Вот какова идея.

«Думаю, что Вашему «строю души» она близка и, м. б., Вам следовало бы попробовать написать просто и мудро, — как Вы умеете делать некоторые стихи, — два, три таких жития.

«Рукопись в ГИЗ Вы уже отправили?..»

Пытаясь переехать в Москву, я обратился к Горькому с просьбой помочь мне в этом. Он ответил из Сорренто, что поручил мое дело находящемуся в Москве секретарю.

«... Переехать в Москву Вам следует, это зарядило бы Вас новой энергией. Будем хлопотать», — обещал Алексей Максимович.

Из хлопот ничего не вышло. Вероятно потому, что лицо, которому писал обо мне Горький, не только не помогало, но, кажется, даже противодействовало моим стараниям получить комнату. Лицом этим был вкравшийся к Горькому в доверие авантюрист и негодяй Крючков. Фашистские агенты, впоследствии вероломно умертвившие Горького, всеми силами стремились оттолкнуть его от советских писателей.

В 1932 году, узнав, что Алексей Максимович хочет увидеть меня, я попытался встретиться с ним. К Горькому меня не допустили. С тех пор я увидел его лишь на Всесоюзном съезде писателей — и то издали.

Тем радостнее было узнавать по разным признакам, что оценка Алексеем Максимовичем моей работы не изменилась, что его отношение ко мне осталось прежним.

В 1927 году в «Правде» появился очерк Горького «Михаил Вилонов». Он начинался отрывком из моего стихотворения «Слава — злобе»:

И больно мне, когда подобя
Людей зверям, слепая кровь
Темнит их взор. Но — слава злобе,
Воинствующей за любовь!

«Если бы это четверостишие говорило не о злобе, а о более глубоком и творческом чувстве, чем она — о ненависти, — я мог бы взять его эпиграфом к моему воспоминанию о Михаиле Вилонове», — писал Горький.

В очерке «Мальчик» («Литературная газета», 8 августа 1934 года) я снова встретил строчку того стихотворения, которое несколько лет назад привел Алексей Максимович:

«Трудно, невозможно рассказать о силе революционного чувства маленького певца, спевшего нам, — мне, Бабелю и другим, кто слушал его, — славу ненависти, воинствующей за любовь...»

Эта фраза прозвучала в моем сердце, как привет.

◆

Слова Горького: «У нас будет новая большая литература» — я вспомнил на открытии первого всесоюзного съезда писателей. Тринадцать лет прошло с того дня, когда Алексей Максимович произнес эти памятные слова, — и вот его предсказание сбылось полностью.

Жмурясь от резкого света прожекторов, высокий, массивный, с морщинистым лицом, в роговых очках, Горький стоял на трибуне, а на него сотнями глаз смотрели новые советские писатели.

Алексей Максимович читал доклад о советской литературе. Его ровный голос, время от времени прерываемый басистым кашлем, раздавался в тишине огромного, жарко дышащего зала. Когда чтение закончилось, тишина разрядилась грохотом рукоплесканий. Горький смущенно удалялся в глубь сцены.

Он учил, воспитывал литературную молодежь и здесь, на съезде, — воспитывал всем своим поведением. Протест Горького против приложения к нему «измерительных», как он выразился, эпитетов был для некоторых молодых очень нелишним напоминанием о скромности.

— Я такой же рядовой писатель, как и все, здесь присутствующие, — говорил Алексей Максимович съезду: — И потому эпитетов не надо, не нужны они...

Близким и понятным ему оказался народный певец Дагестана, житель лезгинского аула Сулейман Стальский. Среди делегатов Стальский выделялся своей одеждой горца-сельчанина, тонким смуглым лицом с черно-седой бородой, внешней простотой, за которой угадывалась мудрость. В тот вечер, когда Горький говорил о скромности, Стальский вышел на край сцены и прочел или, вернее, пропел приветственные стихи. Аккомпанируя их на родном языке с очень своеобразной интонацией и выразительными жестами. При фразе, означавшей: «Я пришел к вам на съезд с гор Кавказа», он прикоснулся рукой к обуви.

Закрывая съезд, Горький сказал:

— На меня, и — я знаю — не только на меня, произвел потрясающее впечатление акын Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец, безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме,

шептал, создавая свои стихи, затем он, Гомер двадцатого века, изумительно прочел их...

Во время этой речи я находился недалеко от трибуны.

Густой бас Горького разносили и усиливали громкоговорители, фигура его казалась кряжистой, мощной. В эти минуты в моем сознании возник образ крепкой, старой сосны на крутом волжском откосе.

Радостно подумалось, что еще не скоро иссякнет жизненная сила Горького, что ему и «веку не будет».

Но убийцы его сына уже ткали страшную паутину злодейского заговора и вокруг самого Алексея Максимовича.

◆

На тему «Великие маленькие люди» я написал поэму «Сад».

Жил в г. Иванове садовод-опытник Ф. А. Самцов, в прошлом фабричный фельдшер. В годы гражданской войны, когда каждый свободный клочок земли вскапывался под картошку, Самцов начал огородничать. Понемногу его маленький огород превратился в удивительный сад. В этом саду вызревал виноград, росли скороспелые томаты, баклажаны, распускались невиданные на севере цветы. Кроме того, Самцов изобрел несколько земледельческих машин.

За чертами скромного ивановского садовода мне виделся образ Человека с большой буквы, — обновителя земли и преобразователя природы.

Поэма о Самцове вышла у меня не сразу. Сначала она была просто длинной биографией в стихах. В таком виде я предложил ее, незадолго до съезда писателей, редакции нового горьковского журнала «Колхозник». В дни съезда Горький не мог прочесть ее, а после съезда прислал следующее письмо:

«Дорогой Семеновский, мы не можем напечатать в «Колхознике» 43 страницы стихов, однообразных и тяжелых, не можем потому, что уверены: наш читатель не одолеет такую массу рифмованных слов.

«Но я Вас очень прошу сделать вот что: дайте биографию Самцова и очерк его опытов в прозе, перебивая ее — там и тут — строфами Ваших стихов. Биографические сведения о Самцове Вам легко собрать, — в газетах края, наверно, был напечатан его некролог. Опыты его продолжает кто-то, кажется — проф. Шуйский. Вы написали более тысячи строк, дайте нам 200 — 250, разместив их между прозой.

«Этой работой Вы создадите новую форму очерка — патетический, пафосный очерк, и этим Вы положите начало новом

приему изображения и, может быть, начало нового течения в литературе нашей. Это не будет романтизм «Путешествия на Гарц» Гейне, а должно быть советской героической романтикой. Вы достигнете этого, если будете писать прозу так, что она сама, свободно и естественно перейдет в стихи. На мой взгляд Вы в силе сделать это, и, если сделаете, Вам скажут спасибо тысячи наших читателей и многие поэты, способные работать честно.

«В начале я назвал стихи Ваши однообразными и тяжелыми, но когда они будут перебиты прозой — эти качества их значительно понизятся, они выиграют от соседства с прозой.

«Убедительно прошу Вас взяться за эту работу. Впоследствии возможно будет издать всю поэму целиком.

«Было бы большой заслугой, если б мы научились писать о наших героях так хорошо, как они заслуживают этого.

«Крепко жму руку. Очень раз узнать, что Вы живы, здоровы, упрямо работаете...»

Горькому казалось, что наши очеркисты рассказывают о подвигах героев труда холодно и небрежно. Его пламенная душа возмущалась этим. Человек страстного, действенного отношения к жизни, он и от других литераторов требовал больших чувств и настоящих слов. Он мечтал о новом литературном жанре: об очерке-поэме.

Эту же мысль Горький высказал на совещании драматургов.

В образах и явлениях нашей действительности столько поэтического, что их словесное изображение требует тоже поэтических средств. Очеркист, рассказывающий о герое нашего времени, строителе новой жизни, обязательно должен быть в какой-то степени поэтом, а тем, кто пишет стихи, нет нужды искать материала для своих вдохновений слишком далеко. Этот материал рассеян всюду, где живут и действуют «Великие маленькие люди». Нужно только прочувствовать, полюбить его.

Очерк, внушенный Горьким, я писал чуть не целый год. Написанное не удовлетворяло, но пора было кончать работу, и я отослал рукопись Алексею Максимовичу, далеко не уверенный в успехе.

Ответ Горького был настоящим сюрпризом:

«Искренне поздравляю Вас, Дмитрий Николаевич, — очерк сделан весьма удачно и — я надеюсь — положит основание новой форме литературы.

«Предложу «Крестьянской газете» издать его массовым тиражом. На стихи Вы поскупились, но выбрали — хорошо.

«Теперь нужно предложить Госиздату издать всю поэму целиком, — для этого пришлите ее в Москву, мне.

«Очерк пойдет в «Колхознике», в 6-й книге...»

В предпосланном очерку маленьком вступлении Алексей Максимович еще раз повторил свою мысль о новом приеме изображения советских людей:

«Помещая очерк Дм. Семеновского о Самцове, написанный прозой и стихами, редакция журнала «Колхозник» обращает внимание читателей и очеркистов на возможность особого приема, посредством коего наши герои, наши знатные люди могут быть изображены более ярко, с большим пафосом. Наш человек плохо умещается в прозе, особенно если эту прозу пишут небрежно или с холодной душой. Изображение нашего человека так, как он того заслуживает, должно быть повышено в тоне и красках. Дм. Семеновский пробует сделать это, но у него вся биография Самцова была написана стихами, а прозу он ввел уже в стихи. А не попробует ли молодежь наша писать о людях прозой с таким воодушевлением, с такой гордостью их работой, чтобы проза сама собою превращалась в стихи?

М. Горький».

◆

Я не видал Горького в гробу, и он остался в моей памяти живым.

Для людей нашего поколения имя Горького, его образ связаны с весенними зорями юности, с радостью сбывшихся надежд.

Нам выпало счастье узнать его не только как бессмертного писателя, не только как сурового беспощадного борца, звавшего уничтожать врагов, но и как человека, воспоминание о котором пробуждает в сердцах любовь и гордость.

Фашистские наймиты убили Горького за его преданность коммунистической партии, за дружбу с товарищем Сталиным, за пламенную любовь к советскому народу. Имена убийц история навеки заклеймит проклятием. Имя Алексея Максимовича Горького всегда будет светить передовому человечеству, как яркий путеводный огонь. Его могучее слово всегда будет звучать призывом к творчеству, к борьбе за счастье трудящихся.

Редактор *М. Е. Бритов.*
Технический редактор
Ф. В. Жуков.
Корректор *А. С. Солодова.*

*

Сдано в набор 31/V 1938 г.
Подписано к печати 2/VII
1938 г. Тираж 8000 — экз.
Формат бумаги 82×108/32.
Бум. л. 1. Печ. л. 4. Учетно-
авт. л. 3,8. В бум. л. 163328 зн.
Изд. № 20. Инд. X — 1-в.
Уполн. Ивоблгита № В — 501.

*

Типография издательства
Ивановского обкома ВКП(б),
г. Иваново, Типографская, 4.
Заказ № 4456.